



ДМИТРИЙ ЧЁРНЫЙ

ЗАПОВЕДНОЕ ИЗВЕДАННОЕ

МАЛАЯ ПРОЗА,
ОЧЕРКИ,
ПОВЕСТИ

Дмитрий Чёрный
Заповедное изведенное

«Алисторус»

2020

УДК 82-94
ББК 84(7)

Чёрный Д. В.

Заповедное изведенное / Д. В. Чёрный — «Алисторус», 2020

В плеяде «новых реалистов» Дмитрий Чёрный занимает особое место. Став во многом законодателем и теоретиком этого направления современной прозы, опубликовав Манифест радикального реализма в 2001-м, он уверенно встал в авангарде противников «русского постмодернизма», который для либералов и антисоветчиков был «домом родным». Не снискав на своём творческом пути прозаика тех лавров и той монетизации литературных заслуг, которыми могут похвастаться его притихшие попутчики, Чёрный продолжает оставаться в своих текстах, больших и малых, радикальным реалистом, не щадящим своей увеличительной оптикой никого, включая самого себя. В сборник противника мемуаров как жанра, называвшего жанр в том самом Манифесте «писсуаристикой», вошли его малые и средние тексты ретроспективно-аналитического жанра, который зачастую сложно определить чётко как рассказ, очерк или повесть. Поиск прозаика не прекращается и здесь. Поиск камертонной точности в запечатлении восприятия, в отображении реальности в её временном многообразии и соотношении с самою собой. Книгография: Выход в город (сти, 1999) Революция материал поэмы Дом (стихи + поэма, 2000) Поэма-инструкция бойцам революции (+Манифест и методы радикального реализма, 2001) Поэма Столицы (роман, лонглист «Национального бестселлера», 2008) Верность и ревность (рассказ в романах, 2012) Хаости (стихи, поэмы, буриме, 2013) Времявспять (роман-эшелон, 2017)

УДК 82-94
ББК 84(7)

© Чёрный Д. В., 2020

© Алисторус, 2020

Содержание

Рассказы, очерки, зарисовки	7
Вместо собрания	7
Бабушка и Гамсун	14
Крайнее лето детства	28
Вагонные споры	38
Тридцать третий	43
Трамплин	52
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Дмитрий Владимирович Чёрный
Заповедное изведенное
Малая проза, очерки, повести

* * *

Давая возможность авторам высказаться, Издательство может не разделять мнение авторов.

© Чёрный Д., 2020

© ООО «Издательство Родина», 2020

Рассказы, очерки, зарисовки

Вместо собрания

(рассказ)

пришёл в горком на Автозаводскую в сентябре, в пятницу, на собрание. поднялся по долгой лестнице на самый верхний этаж, меня впустил знающий в лицо пожилой дежурный, вернувшийся тотчас к своему телевизору. впустил одновременно деятельно и устало: «Мало ли какие там у них собрания – молодёжь...»

на столе перед залом заседаний – как всегда газеты, в названии которых первое слово «Правда»... в зале никого, пусто и светло, но я привычно прохожу в президиум, сажусь, гляжу в зал, на кинозальные кресла. гляжу из-под украшенного внизу пластмассовым вьюном, несо-размерно большого для помещения белого бюста Ленина на деревянном постаменте. он хмур, но не скептичен, Ленин. суровость реализма, сложность будущности...

так бывало – опаздывают, все работают. или из институтов, не спешат... встаю, гляжу назад в окно, которое выходит на угол, откуда должны появляться идущие, опаздывающие уже на собрание. но никого по-прежнему нет. нет уже достаточно долго, чтобы начать размышлять – не спутал ли день?

улица Автозаводская, дом девятнадцать, корпус два, это самый центр квартала рабочих, скромно-конструктивистских домов, верхний этаж позволяет видеть их достаточно чётко. и как раз наш угол окон – выходит на перекрёсток внутренних дорожек двора домов тридцатых, а может и двадцатых заводских годов. здесь и машины ездят насквозь иногда, здесь и прекрасные бывают лужи, но позже, позже, когда октябрь разольётся... сейчас ещё – будто не включился на полную скорость городской год, нет торопливости, нивелирующей подробности. и осень не разлеглась во всеобозрении своём – на перекрёстке немногие сухие листья, всё неявно пока.

я всегда эту комнату собраний, этот зал воспринимал квартирно как-то, даже в условиях духоты и переполненности, в политическом напряжении. часть эстетики собраний – красные кресла мягкие, как в кино, откидные. сейчас все пусты, на них свет из окон падающий, подчёркивающий их нелюдимость. нет на креслах ничьих вещей, папок, сумок, на подлокотниках – стопок стикеров-агиток... и никаких звуковых признаков присутствия кого-либо из комсомольцев хотя бы в соседних комнатах, в гостях у постоянно тут работающих коммунистов. они привносят семейность на этаж, где накануне митингов и ночует крепкая широкощёкая энтузиастка Оболенская иногда, и дочка её, большеглазая Люба (тонкокостная милашка, задержавшаяся в развитии, но очень умненькая и любопытная). я запомнил комнату напротив «президиумной» двери зала по короткому коридору – именно как Оболенскую вотчину, там иногда чайком угощают наших...

древесно-стружечная трибуна с залапанными дочерна верхними краями (нервными руками ораторов) – пуста, спокойна. никакого движения и в коридорах. наверное, спутал день...

иногда и за помещение борьба – здесь напряжённые взгляды старших партийцев, а нас гонят в другой конец здания, в комнату поменьше, глядящую на эстакаду, чаще это зимой. горком КПРФ занимает всю верхнюю палубу рабочей пятиэтажки (построенной в форме математического знака отрицания), от края до края, здесь и нацболы свои собрания проводили до нападения и кровавых луж внизу, у подъезда. и наши тут бывали комсомольские драки в

коридоре, в 2004-м – борьба фракционная, борьба групп влияния, семигинщина, троцкизм... какая роскошь!..

а сейчас – просто пусто. и не грустно, по-домашнему спокойно, я оглядываю предметы, как своих старых партийных товарищей. чёрное пианино у бюста Ленина, на котором я играл в перерывах бюро горкома СКМ «семь-сорок», подзадоривая двух наших нац-безумцев, которые издавали свою газету «Красный опричник» (я красовался на передовице одного из первых номеров – удостоился чести за «голубой» грим, намалёванный для летнего капустника). правее пианино картина – на ней аляповатый матрос, принимающий красное знамя у полуголой Французской революции. соски французенки не выделены, партийная скромность художника не позволила. впрочем, бывают и в жизни такие сосочки – как раз у французенок-южанок, у сицилиек тоже – сливающиеся с кожей... напротив «преемственности революций» – хорошая копия портрета (нисколько не смущённого эротизмом) делового Ильича, восьмидесятых годов, подаренная ещё горкому КПСС здешнему, Автозаводскому. изумруден бархат на рабочем столе, в который Ленин упёрся карандашом под указательным пальцем, очень похожем на мавзолейный, восковатым по цвету...

как венец рабочего квартала, занял наш горком верхний этаж крайнего здания, «линкора» эскадры пятиэтажек – упершихся в проезжий поток. застывшее движение конструктивизма в будущее... сюда поднимется только упорный, без лифта, по прокуренной своими же активистами лестнице. кажется, она сохранила атмосферу тех двадцатых, когда и строили по всей территории пролетарской столицы такие кварталы...

да, точно я ошибся: вспомнил, собрания перенесли с пятницы на субботу, чем сильно понизили явку. но настрой вовсе не портится, остаётся оптимистичным в этом оставшемся мне одному пространстве. оно всё время что-то сообщает – кажется, читаю нечто важно-эпохальное, но при этом бытовое. гляжу на верхний этаж соседней, параллельной «бортом» пятиэтажки, на крышу её и какие-то коммуникационные железяки возле безмятежно, наивно открытого ветрам и птицам чердачного «скворечника». всё это на фоне близких (через бульвар) заводских серебристых труб вдохновляет, разговаривает голосами не только наших партийных поколений, но и самых стартовых советских... просто мне достался такой день – побыть одному здесь, вторым сторожем, что-то понять вне шума собрания.

время здесь застыло в справедливо-печальной эмоции старших партийцев «у нас украли Родину!» – стены горкома сдерживают, охраняют это время. но снаружи часы ушли: не только день, но – кто знает, кроме будущего (если борьба наша не увенчается победой)? – может, и годы, и десятилетия ушли. и я остался в этой пустоте зала не случайно: рвался все «нулевые» сюда, объединиться, в коллектив единомышленников. и – один.

гляжу ещё дальше, в сторону центра, он виден кое-какими возвышениями. кажется, даже Павелецкая светится за облаками своими острями... нет, я не буду тут оставаться дольше – вспыхнула солнечная мысль – я пойду! вдохновившее меня помещение ещё и отпускает, подгоняет радостно – я понял, что могу отсюда пройти до дома пешком, поскольку времени собрания, которого нет, вполне хватит на пеший путь. хоть однажды поступить так, как хочется в самые скучные и тягомотные минуты собраний...

да, я должен отсюда уйти пешком – хватаю свой планшет и быстрым шагом выхожу в коридор. дежурный нехотя отрывается от телевизора, там новости телеканала «Россия», как же можно такое пропустить... с вечным укором в прищуре отворяет мне трубочатую дверь, напоминающую милицейские «обезьянники», и я по прокуренной, но сейчас бездымной лестнице, мимо партийных стендов и дверей ниже этажами (которые никогда при нас не открывались) – спешу вниз.

приятен воздух свободы. хоть первым делом встречает тут помойка... отчего-то каждое собрание, всегда бессовестно затягивающееся, оставляет ощущение украденного времени. может, это и индивидуализм обывателя – но всегда думаешь, что мог бы использовать его

творчески. здесь всегда набираешься и позитивной коллективности какой-то, но она требовательна, она и забирает время. сложная казуистика оргвопросов, сочетания амбиций, эмоций, интриг – всё это привычно наполняет голосами красивый, светлый зал собраний. почему-то его пустота со мной говорила чётче сегодня. . . она заставила увидеть то, что за нашими окнами, и заглянуть в следующие. обычно мы на эти окна смотрели как освободители, а я сегодня по-осеннему стал ведомым, внимательным к их собственным подробностям, каким-то детским элементам утвари – там, под чердаками напротив (да, пока мы политические споры здесь разжигали – там кто-то растил детей). мягкость и древесность основ просевших крыш усиливала ощущение домашнего уюта в недомашней пустоте. . . но вот я на улице.

лужи станут тут красавицами позже, когда в Столицу вступят полчища туч и саданёт артиллерия дождей. зеркалУжи будут отражать эти дома – пока же отражают только отдельные лазутчики влаги. эти стены и навесные лифты красивее в лужах, чем в воздухе.

легко и быстро шагаю там, куда смотрел сверху три минуты назад, понимая, что негоже такой шанс разменять на путь в метро – тоже, конечно, просторном, красивом. «Автозаводская» ведь одна из таких, не подавляющих, высокосвОдчатых. . . прохожу кафе, прозванное комсомольцами почему-то «Клёном»: здесь некоторые напивались из пластмассовых стаканчиков перед собраниями или вместо них.

кафе переделано из столовки, конечно же. пролетарский быт тут планировался изначально. а ещё здесь же, как бы оправдывая питие непутёвых комсомольцев, просаживает деньги рабочий класс – немногие оставшиеся заводчане ЗИЛа, пришедшие сюда после смены к игровым автоматам на очередной сеанс. нет ничего печальнее – не кому-нибудь, а нам, агитаторам, видеть этих пропитанных кислой пивной испариной работяг, которые уже точно не донесут свои полочки до семей. . .

пробегаю это и следующее заведение – на ускорении, хоть и понимаю, что никого знакомого сейчас тут не встречу. но сторонюсь по привычке. . . я отвык от чтения Столицы, я заболтался на политическом языке, освоенном мною в совершенстве – в статусе неоднократного секретаря по идеологии-то!.. но это дало и глазу многое, вычитывать научился политику из стен. однако чтение одних и тех же фрагментов текста стен от метро до метро – притупляет внимание, как чтение перед сном, становится ритуальным, невнятным.

там, где чернеет на Автозаводской площади советский призывный памятник послевоенный, многолюдный, уже за правым входом в метро – не смогу пройти сейчас, хотя именно в этот час, выбранный мною, кажется, я готов спокойно воспринять все послания, все смыслы памятников. я спокоен и устремлён. но хочется сразу изменить маршрут и точки зрения: ухожу по переходу налево, минуя бульвар и доску почёта, предзнаменующую местный орган власти. над жёлтой управой за бульваром, рядом с красным, как бы старым советским для привычности (но с лужковским змеубивцем) флагом реет победно триколор – означающий неизменный курс на деиндустриализацию Москвы. вот и пьют и просаживают свои деньги работяги в «Клёне» от безысходности и от того, что деньги это малые, всё равно не пополняющие ненасытный бюджет заведённых в прежние времена семей. . .

а я проскочил сразу к жилому кварталу мимо забора какой-то базы – наверное, автобазы, их тут много должно быть. во времена газетной своей активности я забежал дальше, за управу, в автоцеха, над ямами ремонтными гарцевал с газетами, оставить номер должен был рекламодателям (Автосервис, присоседившийся на территории ЗИЛа). пятиэтажки – не хрущобы, кирпичные и отделанные как многие сталинские дома, крупной бежевой кладкой. знаю: та сторона, от которой убежал, красива в духе тридцатых. если выйти из последнего вагона метро от центра, как я однажды и вышел-ошибся, не ведая, где горком – упираешься взглядом в зовущую проходную завода. и улица уводит рабочими буднями – там я искал второй коричневый том четырёхтомника Платона на заре девяностых, в старом книжном магазине нашёл, среди детских книжек и детективов. . .

здесь все улицы названиями отсылают ко времени-работодателю, к индустриальному утру нашей Эпохи: Велозаводская (один из дачных велосипедов у нас как раз зиловский), Первая улица машиностроителей, даже улица Ленинская Слобода есть (как был на Волге, потом, после войны затопленный, и город двух эпох с парадоксальным устным названием Куйбышев-Спасский). тогда заводы обрастали жилыми кварталами, стадионами, которые подвигали монастыри. заводоцентричные окраины пролетарской столицы. это район моего одноклассника и тёзки Михайлова, с детства впитавшего настрой конкуренции – в таких районах расслабляться не принято, соцсоревнование на каждой детской площадке – оно-то и подготовило нежданно-негаданно его к первоначальному накоплению. в этих, уже не детей, а анашу приютивших дворах близ панельных домов сиживал и я в начале девяностых, когда понеслось отсюда и отовсюду что-то куда-то...

за домами цвета осенних листьев, за бензоколонкой, снова торцы домов, и гуляют мне навстречу мамы с колясками – детские глаза жадно изучают и меня, и листья, что к ним ближе. а я вдыхаю этот жилой квартал: тут больше осени, вот где она притаилась! время припустило от меня наутёк, я бы так и не заметил этих перемен, пробегая каменным коридором от метро до горкома... ещё по-летнему открыты окна, и жители ведут себя по дачному – из домов слышатся низкие голоса мужчин в подпитии да и одна из мамаш держит в руке «жезл демократии», банку пива, другая курит. они расслабляются привычным их молодости способом, пытаюсь не попадать дымом и разговором в поле зрения детишек. а мальчишкам в сидячих колясках они и не нужны – они, как я, вбирают ноздрями и глазами осенние сообщения. для них ещё машины – новинки...

живая преемственность: детей тут растят, а мы растим в горкоме листовки, акции – но не на бирже, на антибирже... хотя, и тут есть игра на повышение, но пока всё понижение. вот и я просеиваюсь, слегка внедрившись в мир пятиэтажек, сваливаюсь с Симоновского Вала – больше похож Вал на шоссе, но название знакомое. это неприятный момент, так как из положения ведомого неизвестностью, новыми названиями улиц, я попадаю в знакомое, когда включаются магниты ближайших станций метро и схемы уже пройденных маршрутов. я ведь знаю, что впереди Таганка и дом Шурика Щиголя, другого одноклассника и однорокгрупника, израильянина нынешнего... поэтому надо уйти левее, вниз.

Первый Крутицкий переулочек подкручивает интерес: сколько ещё невиданных мной ситуаций сожительства домов десятилетиями! кажется, в каждом дворе я бы мог жить и каждый день видеть незыблемую композицию, положение стен. однако по закону прохожего я не смею остановиться, нет видимого повода – разве что завязать шнурки, чтобы сильнее ощутить запах осени... влажные тенистые кварталы – её тут больше. а выхожу на перекрёсток – так солнце по-летнему встречает. и снова бензоколонка – в неудобном месте, откуда мне надо перебежать улицу, чтоб оказаться ближе к мосту с другой стороны. пересиливая осторожность пешехода тянет к себе таинственный серый дом – о, в нём могла бы жить, наверное, та, ради которой приезжал бы сюда каждый день!.. выждав затишье в потоке машин – перебегаю, критикуя свою минутную доверчивость осени, ведь тут даже жарко, где асфальт и нет симбиоза жилых домов с деревьями...

хотя, и серый дом окружён буйной, лишь местами пожелтевшей лиственностью – дом потому так и романтичен, несмотря на хмурость, что выглядит заброшенным. одно высокое окно второго этажа закрыто наполовину фанерой. разные тут живут судьбы – кто-то и из околотовзальных, может, приходит вечерять, проспиртовывать стенной сталинизм... все девяностые спивавшаяся династия, отворившая в свободу свою квартиру, и ждущая ежедневно самых разных гостей. под листвой возле готичноватого этого дома приятно укрыться от солнца, уже закатного, но сильного. все дома эпохи кажутся мне родными с тех пор, как мы пытались разменяться и уехать с Каретного – предлагали только этого поколения, тридцатых-пятидесятых, по тем временам элитные стены.

там справа – длинный пруд, помню, как-то догулял сюда от Котельнической (в пред-экзаменационном измождении, в начале девяностых). поэтому идти надо налево, к мосту Новоспасскому, всё тут Новоспасское, в честь монастыря. по переходу Т-образного скрещения проезжих частей набережной и вдольмостового проезда, где на тебя несутся со всех сторон – умудряюсь перебежать, и не сбавляя темпов шагать по лестнице на мост, сбоку. морская эстетика-романтика – в отделке моста. да: за Павелецким вокзалом начинается портовая жизнь, и где-то здесь же завершается маршрут речных трамвайчиков.

вон они, кстати, тут и поворачивают – словно чайки на морском берегу белеют кучкой под стенами ещё отчасти индустриальной, но больше музыкальной группы строений: краснокаменный Дом музыки напротив Краснохолмской набережной тычет карандашом своим в закатное небо.

так вот где кончается Водоотводный канал, втекая обратно в Москву-реку! я – прибывающий в город таким неожиданным маршрутом москвич, – к вокзалам, к центру, к Садовому Кольцу... в свежую желтизну деревьев, выглядывающих из привокзальных дворов, к этим школам и складам, к административным зданиям, знакомо-незнакомым, к нелепой стеклянно-металлической башне с присевшей на неё летающей тарелкой.

год начинается, время Столицы, вечер намечается, и я влетаю в него с высоты моста, по дуге, справа приветствует и немного слепит вполне бодрое, хоть и клонящееся к горизонту солнце. слева за мостом с берега манит зелёными изразцами тоже дом годов пятидесятых, ровесник серого, но туда я не ходок, это для следующего маршрута.

с моста, сбежав по лестнице, затем долгим асфальтовым спуском, часть которого взломали и ремонтируют – иду, оглядываясь на коварные машины, к другому мосту, направо. роллеры меня обгоняют. пока тут ходишь, напечёшься даже закатным, слабеющим солнцем. пройти под автомобильным мостом можно только долгим мрачным набережным коридором вместе с Водоотводным каналом: он на выход, ты на вход. где пролетели в две секунды роллеры – мне идти пару минут, палые листья туда увлекают сквозняком...

но кто бы мог подумать, что южный вход в Столицу именно здесь? неформальные ворота – кажется, что я сюда перешагнул из самого начала девяностых, когда только узнавал Столицу шагами-взглядами. тоннель немного похож на аналогичный коридор под Новой Басманной улицей, только значительно длиннее, целый закоулок, тут ночевать можно. правда, подмостовой проход, как тоже печать переходного времени, загажен – назад в девяностые! но и в этом знакомо-человеческое, вокзальное. так, кажется, должны пахнуть и закутки под парижскими мостами – жаль, не могу сравнить, не был. в Москву Бомжовую, Москву Товарную, Вокзально-девяностую – сюда. это не только людей, это и запах города неотъемлемый, в сочетании с речным – самое то, клоака! ненависть к зловонным соплеменникам и одновременно понимание вынужденного использования этого пространства в отсутствие работающих бесплатных туалетов – тоже черта современности. бумажки-подтирки, зелёностекольные и коричневые бутылки, битые и целые, обёртки мороженого, флаеры магазинов и рок-концертов...

Шлюзовая набережная – всё в точности, портово-вокзальный участок реки мной встречен своевременно. я возвращаюсь по-настоящему, не на метро. сперва жёлтые фабричные стены, затем мрачно-гостиничные окна. и сюда втиснулось новое время: громоздкие дорогие авто сообщают, что тут центр кап-цивилизации, уважаемые шофёры ждут господ, покупая, послушавшая Love-радио в запахе натруженной за день езды кожи салонов...

здесь непривычны к пешеходам, тут только автопассажиры и их извозчики – а я вот пробегаю незатейливо, и само это сквозное движение будто опровергает иерархию, буржуазную стабильность... теперь мне всё знакомо – и мост к Дому музыки справа, и конструктивистский угловой дом автосервисов впереди слева, и уж, тем более, подземный переход на внутреннюю сторону Садового Кольца прямо по курсу. всегда возвращаясь территориально, возвращаешься и во времени: всё больше виданного тобой в прежние годы. здесь я специально

проезжал в девяностом осенью и девяносто первой весной, чтоб поразглядывать дома и, наконец-то, замкнуть своё Кольцо – садился то на одну его сторону, то на другую в троллейбусы «Б» и десятый, после репетиций дома у рок-одноклассника, Шурика Щиголя...

кафельный подземный переход нисколько не прохладен, в отличие от входного тоннеля в начале Шлюзовой набережной – слишком много тут за день проносит прохожих свой жар. я выхожу к Татарской улице – тут уже между девятиэтажками мелькает знаменательная хрущоба, в которой недолго, но великолепно находили приют на верхнем этаже с правым торцевым окном наши с журналисткой Ксенией Веретинкофф страсти прошлого столетия, в самом его конце. именно в эту сторону, к Павелецкому вокзалу, выглядывал я в вечернее окно, привстав с Ксю, утомлённой долгим моим в неё наступлением.

длинная Ксюшина хрущоба пропускает быстро – прошлое выскальзывает из взгляда. и тянет меня на набережную, то есть на этот раз правее. сплетается сумрак, он кажется серым туманом в закоулках. или это уже зрение устаёт? кажется, что весь день устал – сужу даже по прохожим парочкам, нет в них стремления, инерция одна. даже красивый мостик через канал их не вдохновляет...

Озерковская набережная действительно хмурая, в ней собралась усталость жаркого сентябрьского дня, сгустилась у воды. ощущаю усталость и я внезапно: осознаю, что пеший путь домой пройден лишь наполовину, и догоняющие меня сумерки, кажется, придавливают. спешащие навстречу нагретые красные и цвета «металлик» машины тоже напоминают, что стоит спешить домой. в машинах курят, думая, что так отдыхают... гляжу на мобильный, на часы – нет, я лишь сорок минут иду, ещё чуть больше, и буду дома. да и мост, по которому грохочут от Новокузнецкой к Котельнической трамваи – уже вырисовывается в сумерках.

вот уже места моей газетной работы начала нулевых – справа гармоничный «речной» конструктивистский домик с круглыми окнами по бокам от входа, учебное какое-то учреждение, отсюда не разглядеть таблички. слева узнаваемы лишь окна серого панельного общежития-башни – своим анархизмом убранства, где фанерой, где фольгой, где одеялом на окнах... а дальше вместо двухэтажного дома девятнадцатого на вид века – махина заглянцевЕла. из-под неё я и вынырываю направо, на мост, где каждый люк и ухаб мне знакомы. люки, однако, поменяли – уже не читается знакомый «ТСОД»...

два пешеходных перехода – и я на Устьинском мосту. кажется, удалось убежать от сумерек, обогнать их наплыв из Замоскворечья на несколько минут. знакомо и из девяностых тут многое – даже восклицательный знак (в виде которого отсыпалась краска на торце сталинского дома слева, за пустырьём). я поднимаюсь по мосту всё выше, через усталость, и понимаю, какую величественную работу совершаю – справа окрыляет высотка, слева – виднеется Кремль. и всё ближе к середине моста и всё яснее, откуда катится вечер. я добрался до своего колеса обозрения, завис над временем, чтобы обрести эту столичную ясность, этот потрясающий масштабами обзор круглых небес, гигантского купола Столицы.

за Курским вокзалом – вот оттуда растёт синий, тёмно-синий, фиолетовый сумрак. а солнце со своим закатом в редких облачках ещё малиново лучится на Юго-Западе, в тупике «красной» ветки метро, у Университета, за Замоскворечьем. солнце и ночь встретились вечером во мне на мосту. оттуда же, вместе с дождевыми облаками, из-за Курского, вниз по Яузе к Москве идёт зима, идут все безнеБсные дни, которые накроют столицу через пару месяцев. зимнее ватное одеяло...

не просто вечер: густая ночь уже виднеется там, за высоткой, и что-то светлее заката ещё плещется слева, за Кремлём, МИДом и Киевским вокзалом. я настиг своё время, увидел его движение с той небесной достоверностью, о которой даже не догадывался. благодаря отсутствию облаков и вечернему часу, я обнаружил эти гигантские часы Столицы с циферблатом вокзалов на Садовом Кольце, и на которых Устьинский мост – часовая стрелка.

впереди предстоит ещё длинный, но недолгий путь, дома ждёт мама и уже нет бабушки. я пройду по Солянке мимо Опекунского дома, где работал, куда ездил в экипаже бабушкин отец Василий Былеев-Успенский, я пройду мимо синагоги, по Большому Златоустинскому переулку, мимо дверей Лубянки, к Трубной площади... я вместе с сумерками прошагаю этот путь, как делал все девяностые, но быстрее – потому что увидел главное. узнал, откуда катит вечер, увидел сверху, как птица – середину меж закатом и ночью, нашёл биссектрису в треугольнике света, тьмы и дома. вычислил за Китай-городом края произрастания своего дома, где ждёт ужин и диванный уют для пешехода. собрания не было, зато снова была Поэма Столицы. куда б здесь ни шагал, я прошагиваю её ритмы и строки.

Бабушка и Гамсун (рассказ)

мы остались на даче втроём: кот, я и бабушка. так обычно не бывает, мы живём вчетвером, каждое лето, пару месяцев уж как минимум стараемся тут провести. но в этот раз мама едет в экспедицию с учениками, наблюдать солнечное затмение в Болгарию, и на две недели я остаюсь главным, ответственным по даче. часто я сам так уезжаю, и наподольше, даже на месяц бывало – но пришло время и самому подежурить. когда бабушке под сто лет, одну её на даче не оставишь, да и надобности нет – меня ничто и никто вне дачи не ждёт, так что в любом случае – здесь...

лето обыкновенное, не очень жаркое, с редкими дождями, разнообразное, разноцветное. мы нормально со всем тут управляемся: я режу котейке мясо, бабушка варит ему рыбу, рыбная вода выплёскивается на электроплитку, иногда этот запах (крайне агрессивный) меня и будит, если я залежался в сонной неге. вместе завтракаем, потом я еду кататься на велосипеде, а бабушка снова спит: досыпает своё сильное снотворное. позже просыпается, слушает радио, иногда к ней приходит интеллигентная дачница Вера Александровна, живущая через улицу. или оттуда же баба Зоя, здешняя, весёлая и грубая. есть и ближайшие соседи, постоянно живущие в нашем разделённом на четвертинки доме – Сан Саныч и Серафима Дмитна. они здесь почти всю жизнь – он отсидел во время войны за то, что носил из любопытства в кармане сброшенную с самолёта нацистскую листовку. жена его дождалась, и вот, с ним вместе сюда переселилась, за пятидесятый километр, не за сотый ещё выселяли таких в пятидесятых...

Сан Саныч идейный сторонник Ельцина, поэтому частенько он из своего окна, выходящего на нашу территорию, затевает с бабушкой, свой партбилет не сдавшей, споры, но проходят они весело, и пока Серафима Дмитриевна не воскликнет, всполошившись: «Мария!». это не кого-то она зовёт – просто значит, что сериал «Просто Мария» начался, и бабушку ждут уже внутри дома, там цветной телевизор, а у нас чёрно-белый. удивительное дело: пару десятилетий назад бабушка проводила каждое лето в гостях у семьи скульптора Королёва в Абрамцеве, двумя станциями дальше к Загорску – а теперь вот смотрит глупенький сериал с деревенской интеллигенцией. ничего не поделаешь: человек есть общение. и лучше так, чем в одиночестве. Сан Саныч – учитель математики, труда и бывший директор здешней школы. хоть и пожилой, но замены в школе ему нет. ещё он художник-самоучка, ашукинские пейзажи рисует.

раньше я реагировал по-соседски суетно и досадливо на шумы из-за бревенчатой стены, как раз из комнаты Сан Саныча: его назидательное похрапывание порой будило. есть в этом храпе что-то вдвойне залихватское, а потому смешное – ведь пожилой учитель не слышит себя, и это своеобразные редкие запевы полного освобождения. но в них ни разу не звучало ничего от свободы – одна свирепость, какое-то закольцованное упрямство, чем дальше, тем громче, пока Сан Саныч сам себя не услышит и не осечётся. жертвой этой танковой атаки из-за стены становился мой хрупкий сон, после чего сам Сан Саныч тут же, пока ещё тихо, засыпал – и это была моя краткая, минут в пятнадцать полоса для пластунского вползания в сон, иначе тихое приближение храпа предвещало новую армаду...

но теперь я стал иначе относиться к храпу соседа – с благодарностью. не только к храпу, но и ко всем звукам вокруг. наличие жизненных шумов за стеной вселяет в меня надежду, что я не останусь один в случае чего: будет кому и со «скорой» помочь, и вообще... а случай может быть самый нежелательный – бабушкино почти столетнее сердце периодически настоживает. поэтому ночью я слушаю внимательно и бабушкино дыхание – громкое, ритмичное, как во время гребли, близкое к храпу, но не храп. комнаты наши маленькие, соседние, поэтому слышно хорошо. удивительное бабушкино дыхание во сне делает иногда пугающие паузы в

полминуты, словно ныряет, и я уже настораживаюсь, иногда даже подкрадываюсь в оцепенении – но вдохи, после громких очень тихие, продолжаются, всё нормально.

перед сном наступает самый ответственный момент – бабушкин приём лекарств. поскольку своим зрением бабушка уже не может разобрать названия бесчисленных коробочек (хоть я и перенаписывал их крупно, сокращённо фломастером-маркером), выдаю и подготавливаю лекарства я. какое-то надо точно пополам разломать, какое-то давать раз в два дня только, иногда одно снотворное, потом другое, чтоб не привыкать, всего не упомнишь... а бабушка всё прекрасно помнит и руководит: дай такое и такое... память лучше зрения. память и неизменное, до ста лет сопровождающее уверенным шагом, стремление к здоровью. сама себе доктор стала бабушка: точно исполняя указания врачей, после первого инфаркта продлила жизнь на полвека.

но вот уж погода-то диктует всегда своё – и духота преддождевая вызвала у бабушки аритмию перед сном. воздуха не хватает, на длинном фамильном белом носу с морщинками – испарина... уже ночь за окном, и помощи ждать неоткуда, мы вдвоём, даже кот в неизменном в это время загуле. но есть лекарство «обзидАн», моя успокаивающая речь, и окна надо открыть: у бабушки, и своё, открыть путь сквозняку. лекарство как раз от аритмии и вообще очень помогает сердцу, недавно появилось... и я говорю рассудительно так, отгоняя все недобрые вероятности, и ветерок вроде начинает заглядывать в узкую комнату-«чулок», где спит бабушка. ей стало получше. решаем сегодня принять слабое снотворное, полегчало, но сердце нельзя расслаблять после такого стресса.

вот так, отбились от атаки аритмии. а в запасе был у меня только нитроглицерин – и вовсе не для данного случая тяжёлая артиллерия. или уж – бежать со всех ног через лиственный лесок до здания поликлиники, звать «скорую» оттуда (телефонов-то нет ни у нас, ни у соседей), а «скорая» приедет из больницы, что по ту сторону железной дороги, нескоро... но это совсем немисливо – как бабушку оставишь с таким сердцем? только если обратиться к соседям, но будить их, тоже пожилых – как в таком случае?..

моральный помощник мой единственный в этой обстановке, когда наступает ночная вахта (не только дать лекарства, но и прислушиваться постоянно, как засыпает бабушка), Кнут Гамсун – о котором понятия я не имел до сих пор. на обложке филоновские зверюшки – любопытные, ноздреватые, мудрые. «Плоды земли» называется книга из серии «Азбука-классика». наверное, так хватко и боязливо читают Библию, боясь кошмаров ночных, люди верующие. но мне понять их не дано, поэтому читаю не о плодах небес (которые, реальные, сегодня так и не пролились, только духотой погрозились), а о земном плодородии. книгу дала почитать любимая, но далёкая уже не первое лето. да сейчас и не до этого...

и лишь считаю сутки: вот ещё одной волнительной ночью меньше. так становятся мне лично близкими и все события в гамсунском лесу, где горбун основал свой населённый пункт. что там у них произойдёт, как сладится? такие вопросы, наверное, волнуют зрителей сериалов по ту сторону бревенчатой стены. но у меня – никакого другого альтернативного мира, кроме этого, щедро выписанного уже немолодым скандинавом, зачем-то на старости лет поддержавшим гитлеризм. кофе, молоко и селёдка на их столе. работа в лесу, скупая ласка, трудно дающееся взаимопонимание меж горожанкой и одичалым, беглым из города горбуном, медленно растущее хозяйство, растущие дети. смысл жизни, постигаемый только совместной жизнью, в труде собственном. отчасти можно события эти принять за продолжение фильма «Свинарка и пастух» – только в замедленном темпе, со скоростью и нашего неторопливого летнего быта. вокруг всех нас – и книжных и реальных – ночь да лес. а им ещё детей растить!

утро всё преображает. и тени опасений нет – бабушка в солнечных бликах-сеточках бодро умывается в моей комнате. так уж тесно устроен наш быт, что кран с холодной водой, выведенный через стену добрым Сан Санычем, изливается в мойку, а оттуда в ведро, установленные вплотную к печи и прямо у моих ног, то есть у кровати. бабушка обязательно обливается по

пояс холодной водой, поэтому я продолжаю спать законно, только повернусь на другой бок, к пахнущей бревенчатой древностью стене, обитой фанерой. иногда бабушкины брызги падают мне на пятки, вылезшие из-под одеяла – но и это ещё не побудка. следуя своим традициям, я должен поваляться. впрочем, завтрак надо проконтролировать.

передо мной в утреннем свете на выцветших жёлтых деревенских обоях – правее над умывальником и выше телевизора репродукция картины М. В. Нестерова «Явление отроку Варфоломею», отрезанная верхняя часть календаря какого-то позднего восьмидесятого года. глядя на этого умиленного встречей в лесу со своим будущим пастушка, я понимаю, что в каком-то смысле отрок Варфоломей сейчас я сам. как это не боялся ходить будущий Сергей Радонежский по здешним лесам совершенно один со своими стадами? вот и я один – но день мне в помощь.

ритуал приготовления растворимого кофе я успеваю проконтролировать: вся хитрость в том, что я сыплю кофе поменьше, а молока (которое сам же покупаю здесь, приношу в бидоне) наливаю бабушке побольше, чтобы после снотворного её сердце не получало ускорение. ведь всё равно скоро она пойдёт досыпать...

моя велотропа ведёт как раз в ту сторону, где и пас Варфоломей Радонежский свои стада: на старую Ярославку, а потом через Росхмель и Калистово, через любимый в детстве переезд (на полпути к остановке «55 км», ныне «Радонеж») на другую сторону. и там уже вдоль радонежских, пятьдесят пятого километра дач, до усадьбы Мамонтова в Абрамцеве. удивительно там всё перемешалось – и самые мои первые восприятия природы в два года, и бабушкина дружба с дочерью Нестерова, и эта усадьба-музей с избушкой бабы Яги, единственно мне понятной и интересной в том, первом детстве... я качу точно лечу, забывая про педали и двигаясь только за счёт перемещения веса над землёй.

пока я катаюсь, с каждой станцией приближаясь к младенчеству на берегу Вори, на даче ближе к Москве проходит совсем немного времени – часа два, не больше, как раз до обеда. бабушка спит долгим утренним сном – а я успеваю столько вспомнить, подумать, увидеть... выходит почти диалог с незнакомыми заборами и домами под елями – я уверен, что дома это и художников. потому что только под высокими деревьями, на лесистых участках, в давно не крашенных домах с большими клетчатými террасами живут художники, как в Абрамцеве, где мы жили у Гассе. нет, они-то как раз все поголовно художниками не были, рисовала маслом только вечнобеременная Наташа, вроде бы. двухлетний, я почему-то хорошо понимал её возвышенную улыбку нагруженной художницы – ведь во мне она отчасти видела будущее и своё, своего дитя: вот, станет скоро тут же бегать, глазеть...

у меня тогда в два-три года было настойчивое ощущение, что я просто работаю, недавно назначен в увлекательной игре вроде прятки, ребёнком, а на самом деле – взрослый и всегда был серьёзным дядей. поэтому все «уютю» воспринимал с воистину взрослым скепсисом и даже отвращением, недоверием. какое-то излишнее лицемерие, уродующее взрослые лица, виделось мне в такой показной нежности. а вот похвалы любил, хотя и не понимал ещё все слова. больше говорили запахи.

бессловесное детство (хотя, небольшой словарный запас уже имелся) тем особенно, что общие эмоции вокруг заменяют собственные – ты ещё не даёшь оценки сам, ты спешишь знакомиться с оценками других, доверяешь. они – сигнальщики добра и зла для тебя, как погода, природа, звуки и запахи леса вокруг дома. время ещё не имеет исчисления, и каждый день проживается с мамой в кругу большой семьи Гассе как что-то бесконечное, но уже имеющее приятные ритуалы.

наша комнатка, которую мы и снимаем – за печкой справа. но мы там только ночуем и обитаем вынужденно когда идут затяжные дожди – от нечего делать я рисую корабли, которых ещё никогда не видел. огромное среднее колесо сине-красного корабля в стиле каля-маля – наиболее реалистическая деталь... основное же время мы в большой комнате у круглого стола,

вокруг которого я гоняю на трёхколёсном велосипеде часто, и – под кронами и хвоей лесного двора. тут велосипед ездит менее охотно, зато больше интересного – муравейник, бурая хвоя под ногами. громадное информационное поле под высоченными елями – так как постоянно кто-то приходит, уходит, мастерит что-то у сарая справа от дома, возле ворот. наконец, я всегда дожидаясь на улице вечера, когда сюда заезжают хозяева, или же на общую радость в возгласах и ощущения свершения – выбегаю со всеми...

приезд дяди пУши на его зелёных «Жигулях» первой модели – всегда был праздником. все выбегали из большого густодревесного дома его встречать, вся семья Гассе (произносим по-старомосковски «гассЭ», созвучно плиссэ-гофрэ), в которой я, дачник, моя мама и тётя не были чужими, как в коммуне. запах натруженного дорогой из Москвы мотора и нагретой пыли, свежей резины на колёсах, салона с потолком в мелкую дырочку – всё это вместе влекло к машине меня, словно телёнка к корове. поскольку я пользовался на участке полной свободой, то и оставался всегда возле машины сколько хотел, просто жил рядом с этой машиной, пока её мыли или заправляли, уважительно глядел на дядю пУшу, тренера по водному поло (что мне объяснили позднее). и влюбился в зелёный цвет – именно в этот, машинный, глянцево-травянистый, светло-изумрудный. в семидесятых годах двадцатого века легковые машины пахли всё же иначе, чем нынче, в двадцать первом – было меньше механических примесей в их свеженьком, недавно с конвейера, запахе. было и ещё что-то общее с запахом больших игрушечных машин. «жигулёнок» по прибытии тренера с очередной тренировки стоял на участке, дядя пУша только его перегонял с места на место – для чего иногда меня сажал в машину, как бы покатасть. но я-то думал всегда, что мы поедем куда-то далеко, надеялся...

потому что, как-то раз, когда на участок перед лестницей, ведущей к шоссе (первая рифма в моей жизни «Гассе – шоссе», рядом с детской «шла Саша по шоссе») заехала и белая «Нива», мы все засобирались, развеселились... сели в зелёный «жигулёнок» и «Ниву» с прицепом – вся большая семья – и поехали по шоссе вверх, куда я только смотрел иногда с берега реки Вори. там устроили игру в бадминтон и пикник. машина дяди пУши была таким образом – волшебницей, раскрывающей горизонты моего мира. я поинтересовался у сестёр Гассе (всегда путал их имена, но беременной из них была всегда всё же, кажется, Лиза), почему зовут они дядю Пушей. они рассмеялись и уважительно намекнули на то, что у него волосатая грудь. при этом дядя пУша лысел, что не портило его спортивной формы...

в силу непонимания вообще, что такое семья, я знал только собственную (с редким присутствием отца) и не ведал, что такое муж и жена – никак не мог запомнить, кто в доме Гассе на ком женат и чей муж дядя пУша. бородатый мускулистый столяр, рыжий красавец-еврей, всё что-то строгавший, сверливший, пристраивавший к дому, дядя Митя – вроде бы и был мужем Лизы. хотя, я ошибался некоторое время, кажется, считая самого достойного мужа, дядю пУшу – мужем нравившейся мне Лизы. её губы что-то общее имеют с Джиокондовыми – подсказывает себе-малышу товарищ Чёрный полутридцатилетний. а дядя Митя казался мне слишком молодым и не похожим на мужа, чтоб быть супругом такой высокой красавицы, как Лиза (оттуда же родом благоговение перед этим именем).

дом Гассе был постоянно наполнен ликованьем, ожиданием прибавления, здоровьем дядимитинового торса, красотой и благоуханием масляных красок длинноволосой беременной Лизы, каким-то ощущением братства художников. видимо, прообраз коммуны и творческого союза (и Союза ССР, в котором существовал этот микромир), я вынес как идеал для всего человечества именно из этого двухэтажного некрашеного дома у абрамцевского оврага. однако если взрослые со мной были запросто, наравне, то человек моего поколения, чей-то сынок – ревновал дачника к родным. однажды подкараулил меня у двери и потыкал маленькой пилкой для ногтей (сделанной в форме кинжальчика с белой ручкой как бы слоновой кости) в мои мягкие ладошки. я-то ждал сюрприза, конфетки какой-нибудь, чего-то доброго («дай ладонь и закрой глаза»)... было не столько больно, сколько обидно из-за собственной незащитности,

доверчивости – старшие дети (а у младшего Гассе был тут друг в посёлке художников) решили показать силу и коварство на госте-дачнике. общечеловеческая справедливость была обижена в моём лице. я захныкал, пожаловался маме, но оргвыводов не последовало. возможно, меня считали маленьким и недостойным уважения эти взрослые дети потому, что я ещё ходил на горшок, а они уже – в деревянный туалет левее дома, близ ворот...

в этом посёлке мы оказались благодаря бабушке: своей дачи у нас не было, и она каждое лето ездила к друзьям своим Королёвым сюда – с их участка начинается улица, единственная в этой части посёлка, упирающаяся в наш овраг. за бабушкой и мама стала тут разведывать территорию, и поселилась со мной новорожденным сперва тут, а на второй год, когда я уже сам бегал, – за Ворей, на территории дома отдыха в частном доме, сняла комнатку с террасным окном.

мы зашли с мамой в те края недавно, – сейчас я как раз их проезжаю на велосипеде, но сильно выше Вори, и дома отдыха, в лесу – с высоты прожитых лет, можно сказать. я узнал быстро расположение нашего первого памятного мне в Абрамцеве жилья и волейбольной лужайки – но был уверен, что всё это происходило позже. а тогда было прохладное лето, маме приходилось беспрестанно топить печку. но когда выходило солнце – мама выходила со мной к волейболистам, они глядели на карапуза, смеялись, в мою сторону иногда пролетал мяч. я запомнил это место как дом отдыха, и считал, что там оказался более взрослым, одним из отдыхающих. но время тут схитрило – точнее, память. мне было два года.

и сам удивляюсь, сколь большое время-пространство умудряюсь проехать за два часа бабушкиного утреннего досыпа. даже заглядываю за музей, вдоль него легко прокручивая свои велоколёса – сворачиваю туда, где широкая аллея ведёт к другому, уже заброшенному дому отдыха. тут тоже бабушкины места – она начинала отдыхать именно здесь, в Абрамцеве, получив путёвку от Наркомпроса, и уже потом познакомилась с Королёвыми и переселилась к ним, по приглашению известного скульптора и его жены.

отсюда, если встать точно у заугления забора абрамцевского музея и у начала аллеи – видно даже Хотьково, заводская или котельная труба за полем. но туда ехать не стоит – туда надо идти пешком при наличии большого времени. а моё время торопит, катится и рябит в спицах велосипедных колёс. трудно осознать, но факт – я качусь на велосипеде, который был уже тогда, у Гассе – он даже постарше меня. чёрный женский велосипед с низкой двойной рамой. на белом крыле заднего колеса есть дырочки, куда были продеты бежевые полосатые резиночки, защищавшие юбку мамы от попадания в спицы колеса... этот велосипед я помню зрительно уже с Калистова, куда мы перебрались в следующий период моего детства.

туда я поеду и сейчас, но всё же с помощью электрички, чтоб не отсутствовать долго и не волновать бабушку – велосипедный путь по шоссе через Хотьково слишком долог, и всё равно придётся садиться на электричку в Калистово. так что лучше уж сразу, не делая крюка, и до станции здесь близко. одно неудобно: с велосипедом подниматься по лестнице от Вори – как раз к дому Гассе, первому с этой стороны.

когда ты мал и только учишься говорить, когда вокруг много неназванного и незнакомого – вот этот как раз абрамцевский лес, – то больше в мире ещё не тебя, а всего прочего. ты, неотделившийся, и есть пока это прочее – изобилие лесных запахов, власть хвой и солнечных бликов на ступенях земляной лестницы... это всё пока – за тебя говорит, а ты лишь начинаешь выделять себя из пренатального хаоса молекул. они все – и иголки ёлки под ногами, и листья в залитой солнцем вышине, – малышу более родственны, нежели взрослым: им обратный путь в слияние с общемолекулярным миром уже долог.

сейчас я, побрякивая велосипедом, панибратски пытаюсь, как тогда, слиться с лесом, прошусь в его запахи прежним малюткой – чтобы они баловали-изобиловали... чтобы напиться у детских истоков заветными и первичными запахами-эталоном. но теперь – стало больше меня, моих запахов ездока и издаваемых моим велосипедом звуков и запахов, да и

мыслей моих, всё внешнее проскакивает быстрее, чем хочется. время ускорилося, а тогда не спешило – его было очень много впереди и счёт дней был непривычен...

природа не в силах перебить опыта имыслительной инерции. и если лес похож на прежний, хотя поколения деревьев прибавились, то дорожка угольная – изменилась, уменьшилась, заросла, стала застенчивее. а сказочным фонарям, провожавшим до самого музея, пошибали головы, либо давно разбили стёкла. я иду как раз противоположно тому направлению, которым вообще открывал для себя мир здесь, на первой в памяти даче. я возвращаюсь.

справа виден неукрытый от прохожих взглядов склон за невысоким неустойчивым деревянным забором – как раз та часть участка Гассе, что казалась из окна нашей комнатки лесной бесконечностью. мир тогда был для меня односторонним, я не умел децентрироваться и сопоставлять планы одной и той же местности. кажется, я почтительно кланяюсь, снижаясь до своего же прежнего роста, перед всеми деревьями и даже встречными – боюсь видеть в людях оценку-отражение себя нынешнего. нет: тут идёт эксперимент по самоуменьшению, чтобы пройти до колыбели детства мальцом...

кучи песка на самой вершине подъёма – давно нет, тут всё заросло лопухами. может, это просто смещение в памяти – куча песка была ближе к участку Гассе, а мне казалось, что спуск к Воре начинается сразу от неё? не у кого спросить – только у себя. и на участок Гассе не заглянешь, нет морального права, повода нет тревожить новые поколения, – конечно, знакомые, – но зачем рыться в их памяти, добывая свой микрообраз?.. прежде я мог сюда вбежать с непосредственностью хвастающегося, что пошёл в первый класс или своей первой возлюбленной, Машей. показывать ей дом, где рулил на трёхколёсном велике... но теперь – лишь завистливым и родительским в чём-то взглядом – могу удивляться сжатости прежних просторов. некому их расхаживать гранатовыми по цвету сандаляками с ромбиками-дырочками.

от края до края улицы, от оврага у железнодорожного полотна до оврага у Вори – вот и весь посёлок на ближайшем к станции участке леса. так и наша семейная топография здесь сложилась симметрично: мы шли в гости к бабушке до конца посыпанной углём улицы от Гассе. Гёссе, Гамсун – это всё современники бабушки – а для нас-то уже состоявшиеся классики. пока Гамсун кочегарил и пытался уже продавать свои книги в США – биография Людмилы Былеевой тоже шагала по стране Советов в ритме её тогдашних физкультурпарадов.

метафора «большого взрыва» актуальна и при взгляде на наши судьбы: на фоне начала двадцатого века мы нынешние, постсоветские – лишь инерция, наши события и достижения лишь осколки. вот я и порхаю тут на взрослом высоком велосипеде, чтоб хоть часть событий попытаться восстановить и уложить в свой календарь памяти освежёнными. вишнёвого цвета дача Николая Соколова из Кукрыниксов, бревенчатый сарай, страж дачи Веры Мухиной у пруда за забором... и к Соколовым один я не сунусь – разрыв поколений. не покажет в домике-мастерской, как прежде, свои работы маслом мне классик с мировым именем, известный, правда, как график... примостившись с краешку века на своём краю улицы – мы застали тех, кто писал, а точнее рисовал яркие советские страницы в этой книге человечества. детская соседская дразнилка «Шмаринов – татаринов» вспоминается у соответствующего участка – хотя я её слышал по-своему: «Шмаринов – котАринов», от слова «кот», кто такой татарин я тогда не знал...

участок Королёвых – огромный. на нём даже был свой пруд, в котором сперва купались, а потом забросили. наличие личного пруда особенно льстило бабушке – поэтому гостить у Королёвых было почти как отдыхать по путёвке Наркомпроса в доме отдыха по ту сторону Вори, за усадьбой Мамонтова.

но, пока я не доехал до Королёвых, а точнее до тоже пожилой уже наследницы их Лены, гляжу налево. здесь, после поворота к станции – был домик Нестеровых. вообще-то по мужу Наталья Михайловна, дочь художника Нестерова, сохранившая фамилию – должна быть Булгакова. Фёдор Сергеевич – сын философа С. Н. Булгакова с картины В. М. Нестерова «Два фило-

софа». его же профиль, только оптимистический, добрый, и выше ростом сын – не придавленный религиозной мыслью. тесен был мир художников и философов когда-то... когда супруги Булгаковы навещали меня в младенческом состоянии, Фёдор Сергеевич мял мои пятки, приговаривая: «Ещё нехоженые...»

за деревьями не видно уютного домика бездетной пары. может, поэтому они так радовались всякий раз, когда мы с мамой заглядывали к ним на полпути к бабушке. глазастый и бровястый любознательный карапуз топал по доскам их нежного и пАрного, но одиночества. чаще на террасе, прямо вслед за входной дверью, Фёдор Сергеевич рисовал маслом, и я оказывался перед морем и небом, пахнувшими возвышенно, масляно. многостаночник, он держал на террасе сразу несколько пейзажей Абрамцева и морские воспоминания... сучая на одном месте, я шёл дальше, изучал уютный их домик с клетчатými красно-белыми занавесками и скатертями – заглядывал даже в комнату с широкой супружеской постелью. на ней, бесплодной, лежало тоже клетчатое покрывало с оборками. быт на маленькой территории двух комнат и чердачка был соткан с тончайшим вкусом. на чердак меня не пускали (что вызывало небольшую обиду), ибо он был завален картинами на подрамниках. зато приглашали в кухню выпить чаю – здесь тоже все предметы посудные и прочие, в малом количестве создавали впечатление идеального семейного быта. запах деревянной отделки дома сливался с маслом художника, это редкое сочетание, смолянистый дух – и стал для меня эталоном дачности.

еду дальше... дом Королёвых в этом смысле был мне неизвестен – точнее, даже противоположен дому Нестеровых-Булгаковых. уюта здесь не попадалось: посещая бабушку, мы поднимались сразу на чердак. это был не чердак по статусу, а бельэтаж с мансардой, но в силу изначальной деревянной планировки и отсутствия отделки, выглядел внутри как чердак. из сада или из дома на меня, топающего наверх по лестнице-ксилофону, обычно смотрели недружелюбные старушечьи взгляды. появление такого неконтролируемого движения в доме Бориса Даниловича Королёва, где всё было хрупко, как скульптуры – казалось нежелательным. мама успокаивала пожилых барышень (я их плохо дифференцировал – кто жена скульптора Людмила Николаевна, кто служанка Татьяна Афанасьевна) – мальчик не шумный, умный. на нас полаивали из будки у дверей дворняга на цепи и более домашняя собачка болонистого вида... зато наверху меня ждал сюрприз.

мама именно сюда принесла мне подарок – чтобы было чем играть у бабушки в гостях. волшебное-хрупкое творенье это голубого цвета на белых колёсиках, как у кареты – называлось «копнИтель». я переспрашивал и вновь произносил это название с восхищением, как пароль. так я открыл для себя сельскохозяйственную технику. у копнителя была кабинка и белая, как колёса клешня на локтеватом отростке, «трёхпалая» лапа, которая и собирает сено в коПны. это произведение искусства размером меньше ладони делалось в числе обычных детских игрушек советской фабрикой, но мне казалось откровением. увы, у первого моего копнителя сломалось колёсико (обод оторвался от спиц колеса – мы приклеили, но уже не катилось оно), поэтому мама купила мне новый копнитель – фиолетовый.

говорят (в том числе пейзажи сада, попавшие в семейную нашу картинную галерею), в саду стояли рослые белые скульптуры Королёва – из числа тех, что делались по первому призыву Ленина вести монументальную пропаганду социализма. главным конкурентом Королёва являлся его современник Коненков, негативным следствием этой конкуренции и были «придворные рабочие» – три белые скульптуры из серии «Освобождённый труд» во дворе перед трёхэтажным домом из потемневшего, коричнево-чёрного дерева. они не дошли до московских площадей. двое гигантов пытались разорвать опутавшие их цепи, один из рабочих стоял, опираясь на молот и глядел в лиственные чащи отделявшего дом от железной дороги леса... где-то ниже, по пути спуска длиннющего участка к Воре, ближе к мастерской, у пруда валялись гипсовые обломки – громадные руки, головы. именно тут Королёв придумывал исполинов

новой Эпохи. в частности, своих рабочего и колхозницу, когда был объявлен конкурс перед Парижской выставкой 1936-го года. но победила соседка, Мухина.

увы, я был в конце семидесятых годов прошлого века слишком мал, чтобы выйти в сад и увидеть гигантов Королёва: по масштабу мне была лишь злобная болонка, неистово облаивающая незваных гостей. только однажды нам позволили по первому этажу пройти к бабушке, которая в тот момент общалась на террасе с Людмилой Николаевной (на абрамцевских фотографиях с Королёвыми тех лет – пятидесятых и шестидесятых, – бабушка несколько раз написала «моя семья», хотя мы-то были рядом, но не в кадре... вот ещё веяния двадцатых, отрыв от корней, новый вектор коммунистического самовоспитания в среде людей искусства, что-то маяковско-бриковское). тут я и увидел среди старинных строгих книжных и посудных шкафов седовласую, очень пожилую на вид жену и музу скульптора. седые волосы были растрёпаны, но стрижку можно было узнать – каре, так выглядели все музы двадцатых годов, включая Лилю Брик. она молча глядела из кресла-качалки на меня, укрытая дырявым пледом. вся недоброжелательность старости в отношении любопытного мальчика выражалась в этом неучастии – а я-то привык уже к симпатиям и ожидал улыбок, экскурсий, что меня проводят к бабушке, обняв и указывая на предметы быта, нуждающиеся в представлении... но сидевшая ближе к саду бабушка быстро разрядила обстановку и увела меня на чердак, где позволялось играть таким деструктивным элементам, как я.

чердак этот таил множество чудес, помимо моего копнителя. в свои студенческие годы, в шестидесятых (когда бабушка уже сдружилась с Королёвыми и гостила у них ежелЕтне не просто как дачница), мама обнаружила здесь массу интереснейших книг в дешёвом издании, которые Королёв собирался выбросить. он покупал эти брошюры в двадцатых годах в поездах, всякий раз когда ехал сюда – в бумажных обложках, копеечные, это были книги и не издававшихся потом авторов. например, там были Кропоткин, Бакунин, которого Королёв любил и вылепил его бюст вместе с ещё двумя народовольцами – Желябовым и Лавровым. был и Пантелеймон Романов, и философы – все те вдохновители первых перемен в России после 1917-го года. куда там Гамсуну!.. кстати, гипсовый бюст вдохновительницы самого Королёва, крупный как всё у этого рослого скульптора, стоит у нас на шкафу – выгиб шеи этой музы необыкновенно одухотворён. в нём порыв красоты к бессмертию или, точнее даже, противление напору, давлению времени, которое тогда несло вперёд... а ныне замедлилось.

оттуда же, из-за леса, куда были обращены взгляды дачниц за чаепитием, раздавались, как сейчас, звуки грохочущих по рельсам вагонов, ведомых паровозами...

вот я и доехал до конца улицы – помимо входа на участок Королёвых здесь достопримечательность и впечатление моего детства – дом, который прямо, за воротами, вечно закрытыми. в этот дом ударила молния. деревянный, он согрел как спичка, и вновь его заселять тогда не пробовали. стояла, как проклятая, рядом с насыщенным бытом других заслуженных деятелей искусств, бывшая резиденция председателя Союза художников СССР А. Герасимова, в которой не раз бывал «советский Перикл» Климент Ворошилов...

бабушка потому так любила тут жить летом, что находилась в среде образованных и заслуженных современников – но не из её физкультурных кругов, а из области искусств, которая не всегда была бабушке доступна, хоть и смежна в Центральном доме художественного воспитания детей, например. от нас в тот момент, когда я рос и учился ходить, познавать здешнюю природу и простейшие человеческие мероприятия – бабушка дистанцировалась, мама в одиночку меня воспитывала в Абрамцево. вот только в гости сюда мы и заходили. впрочем, когда мы поселились у Гассе – жизнь стала настолько весела и многолюдна, что моё воспитание проходило в коммуне, по ощущениям.

поезда напоминают из-за леса о времени – о нынешнем, о том, которое отформатировано расписанием электричек. мне нужно возвращаться в это, своё время, из детства и прежних времён... ближе к Москве меня ждёт бабушка – я должен приготовить обед до того, как она

сама попытается это сделать, так как такие пробы чреватые (однажды я ещё с велосипеда увидел валящий из дверей и окон дым: бабушка затопила печку не открыв заслонки)... я растянул два часа для своего личного временного эгоизма экскурсии, но из субъективного субвремени надо искать выход во всеобщее, которое помещается в электричку и торопится к Москве.

последний взгляд бросаю уже влево, развернув велосипед, на кривоватый дом Королёвых, покрашенный в скрадывающий его возраст и стиль салатный цвет. за забором машина «Ока» – значит, наследница Королёвых, их племянница Елена Николаевна Никольская здесь...

выезд из прошлого – ускорение. проезжая овраг по деревянному мосту, вспоминаю рассказ мамы, как дед мой Михаил Фёдорович Таборко, уже сильно больной, с трудом преодолел рубеж этого оврага, когда моста не было ещё, по пути к снятой для него бабушкой даче, у Королёвых. тогда семья платила Королёвым за съём, вторая половина пятидесятых годов. деду было уже не до дач, он рано сходил с дистанции, но спортсменка-бабушка продолжала тянуть семью вперёд. а у него была одышка: сказывалась на зное болезнь сердца, полученная через осложнение гриппа...

станция «Абрамцево», авангардный терем, слева сейчас, перед въездом под свод его – сдвоенные берёзы, где я колесил на своём трёхколёсном, ожидая маму каждый вечер с бабушкой или тётей, когда стал постарше. платформа так пуста, что кажется – и тут время замедлилось в своём счёте. касса не работает – вот и повод не покупать билет, а господа контролёры пусть верят на слово. я ж не виноват, что у них неразбериха и нехватка кассиров на таких, в общем-то, не самых малолюдных в часы пик станциях. а, может, обеденный перерыв просто. в пятидесятых и позже, в прежнем низеньком дощатом павильоне здесь был даже стационарный буфет с заветренными бутербродами, пивом, газировкой.

однако к пустоте платформы и медленности здешнего времени, словно удерживаемого мной из прошлого, в которое заглянул и повысил там свою активность – подъезжает нормальная электричка, едва заполненная, но взгляды пассажиров говорят, что всё нормально, и они едут с обычной, а не замедленной скоростью. забираюсь в тамбур с велосипедом, тут и постою.

первые поезда меня-малыша пугали своей скоростью и ветром на этой платформе. я даже держался за бетонную ограду, мелово-шершавую: меня стращали, что может сдуть... товарняки выглядели наиболее агрессивно, бряцали устрашающе, а поезда дальнего следования я полюбил и различал по цвету полос на вагонах: была мода красить оконные линии у фирменных поездов. розовым, жёлтым, голубым – все они выглядели наперебой радостно и гордо, идущие из Владивостока и прочих неизвестных мне далей.

мне с трудом представлялись ощущения едущих в таких поездах, я завидовал романтизму их скорости – хотя, они уже готовились к высадке в Москве. однако мне это расстояние до дома казалось огромным. и, в то же время, маленьким. путешествием...

поезд проглатывает так долго мной разведывавшееся расстояние, прошмыгнул Радонеж, уже Калистово хмельными плантациями близится, а там и дом. я возвращаюсь ближе к нынешним нашим лесам из лесов детства: в них было больше елей, и сами ели были больше. и теперь мне, издали взглянувшему на наш ашукинский дачный мирок обитания, как только что на прошлое – ясно, что герои Гамсуна, это наши соседи Свечниковы, Сан Саныч и Серафима Дмитна. он и она, заведшие здесь полвека назад семью и теперь живущие уже двумя домами – их дочь с мужем, своей дочерью и внуками живёт поближе на километр к Москве. а ещё, помимо этой дочери Нины, впитавшей поровну плечистую статью и детскую синеглазость отца, и добрые с лёгкой укоризной черты лица матери – есть младший сын, машинист, пролетающий тут за лобовыми стёклами электровозов тех самых поездов дальнего следования. и другой сын, старший, в Волгограде – вот как распространились ашукинские, плоды глинистой земли и деревенской семьи. Серафима лелеет в низком сарайчике двух коз, поит мужа козным молоком, однако приходит время забивать любимую скотинку, и хозяйственный Сан Саныч делает сувениры из копытец козых, иногда даже сохраняя шкуру повыше.

их жизнь безмятежна, как наша с бабушкой – только я боюсь отхода ко сну и ночи немного. но Сан Саныч своим храпом выручает. он бесстрашен, он хозяин. и лишь однажды указал мне на подозрительное поведение местного моего знакомого – рыжего Шурика, которого учитель должен бы знать по школе. он и пара других знакомцев подростковой поры приезжают ко мне иногда на мотоциклах, стоим у калитки, говорим, они покуривают. из выходящего на улицу окна это видит Сан Саныч – поэтому, наверное, он и додумал некий себе кошмар, которым со мной поделился: мол, ночью по его части участка куролесил рыжий Шурик с трубкой в зубах, пьяный, повалил заборчик разделительный наш... история невероятная, тем более что Шурик не пьёт и через заборы не лазит.

но тут-то я и понял, что идеальная семья, верная супружеская жизнь и спокойная старость должна именно такую рисовать себе опасность – человека извне, ведущего нездоровый образ жизни (мотоцикл, мат, табак). и, что самое главное и опасное – молодого. воплощённый образ того чужого, нового времени, что вытесняет живое заслуженное время Сан Саныча. хотя, голосуя за Ельцина, Свечников выбирал именно это непредсказуемое будущее с его опасностями в стиле деревенского бандитизма.

Сан Саныч не смотря на свои восемьдесят два – крепок, и иногда накачивает мой велосипед своим универсальным автонасосом. а если закручивает гайки – я с трудом потом их ослабляю. но страх сильнее физической силы – вот ему и приснился, думаю, сон на тему подсмотренного вечером. смешной Шурик с трубкой-деревяшкой, похожей на жалеюку, превратился в бандита: сломал забор, но не пошёл дальше, по законам сна не прорвался за окна, в мир пожилой деревенской семьи. забавно, но Шурик, Саша – очень похож на Сан Саныча глазами, только рыж и в веснушках. на вид совершенно безвреден, как мульт-герой Антошка. единственное боевое свойство – толст, впрочем, и Сан Саныч не был худым. однако именно тут дало сбой бесстрашие соседа-старожила – почуял некое приближение внешней злой силы. и Шурик был её символом – самим же Сан Санычем, только молодым, символом вытеснения его поколения, вечного возвращения и убывания...

высаживаюсь из электрички, с железных колёс на свои резиновые – и качу знакомой автодорогой, мимо сельсовета под красным флагом Пушкинского района, размышляя о гамсуновских героях моей дачи. сразу после того страшного сна, Сан Саныч почему-то озаботился судьбой своей библиотеки. как-то подозвал меня к ближайшему окну, что выходит к нашему крыльцу. выстроил на подоконнике несколько стопок книг, спросил, нужны ли мне как психологу книги по педагогике, и стал выдавать порции.

ко мне пожаловали соседствовать с Гамсуном и «Райским садом» Хэмингуэя книги с видом учебников, но учебников для учителей. книги не просто знаний, а статуса – библиотека завуча, дидактика. удивительно, но симпатизирующий Ельцину наш сосед был правозащитным марксистом-ленинцем в рамках школьной программы – тут и диамат, и прочие назидания пятидесятых ещё годов в прочных бордовых, красных и синих тиснёных обложках сталинской стабильности. мне-то – очень кстати. тут даже по эстетике...

когда человек расстаётся со своими книгами – значит, расстаётся с жизнью. домашние библиотеки содержат ведь не только прочитанные тома. а непрочитанные страницы, что терпеливо ждут годами, иногда и десятилетиями, – и есть предполагаемое хозяином книг время в будущем, время для прочтения, зона ближайшего развития... значит, увидевший финишную черту, отказывает себе в будущем и вручает недочитанное тому, кому будущее гарантировано. пусть это и не товарищ по убеждениям – лишь бы книги, лишь бы это сокрытое в страницах время, попало к тому, кто сумеет прочитать, понять, прорастить. я радостно, но и настороженно принял такой дар. в эти годы подобные книги нередко встречаются и на помойках – но принять книги как наследство, это та услуга, которую не только из уважения, но и из интереса к книгам, я могу оказать соседу...

всё, подъезжаю к участку, накатываю волной через мостик – и как приятно видеть, что светская жизнь тут без меня продолжается! и бабушка не в тёмной комнате-чулке пребывает наедине с радио, а в саду, под солнышком. в симметрично обрамляющих раздваивающуюся яблоню плетёных из пластиковых лент креслах – баба Зоя из дома напротив через улицу, и вежливо улыбающаяся по поводу речей гостя как хозяйка дачи наша Людмила Васильевна в белой широкополой плетёной шляпе. дело в том, что речи эти, как правило, повествуют об одном и том же – баба Зоя рассказывает из разу в раз о своих семейных событиях из далёкого прошлого, так как живёт без мужа давно, а дети с внуками поселились отдельно в соседней деревне, в Данилове. мужспился, это тут в порядке вещей. но румяная Зоя в неизменном платочке вспоминает иное, глядя как я со своим велосипедом вспугнул рыжую кошку, пришедшую в гости к моему коту-фрanchнику, а он устремился за ней, только сейчас и заметив:

– Ну, побежал-побежал! Теперь держись, Муська, он те сику-то натрёт!

баба Зоя злорадно хохочет, а моя бабушка улыбается скорее снисходительно, чем сконфуженно – право местной жительницы, фольклор... приходится всё это слушать выпускнице Института благородных девиц. не учить же старушку приличиям? баба Зоя заходит в гости обычно в обед или после обеда, ей отчаянно скучно одной в своём доме. перед тем, как зайти – примет стопочку, муж приучил. вот и веселится, и вспоминает.

– У маво второго-то мужа пятах был побольше, этот хоть бил, но любил!

бабушке очень сложно увести Зою с рельсов её монологов, но чтобы соблюсти какие-то приличия, надо задавать вопросы, как-то отвлекающие от половой сермяги, которая так и прёт, независимо от аудитории, из весьма, кстати, набожной соседки.

– А где ваш муж работал, забыла, Зой?

– Машинистом, ну, это когда не пил, а так – вернётся из рейса, и запьёт на неделю, я его и в баню-то не выгашу.

– Как же вы его не останавливали, Зой, ведь на ваших глазах и спивался?

– А как остановишь? Он, вишь, и на работе пил-то, даже больше, а здесь – отдыхал. Только разделить с ним поллитру, одна хитрость. Не только ж пил, говорю, но и бил. А то – гармонь возьмёт, споёт и снова нальёт, так – пока не свалится. А тащить его – тяжоолый! Это не приведи господи...

– Да... Да...

бабушкина философская улыбка и мягкий взгляд через листву из-под шляпы – явно вообще не об этом сюжете. она так любит лето и своей огромной жизнью, в которой не было и быть не могло подобной ерунды. голубые глаза её спокойны и оживлённо довольны прожитым.

этот забавный диалог дворянства и деревенства под яблоней, наблюдает в своё окно Сан Саныч, но виду не подаёт: тут у него письменный стол и верстачок, он работает. я затаскиваю в сарай велосипед и принимаюсь греть на террасе обед, зная, что бабу Зою и её сексуальную революцию на селе иначе не выпроводишь: приглашение на обед означает предложение уйти, поскольку тогда «диалог» уже станет невозможен, за едой. но баба Зоя порой не теряет: «Коль нальёшь, так и с вами сяду». мама весело в ответ ей обычно наливает какого-нибудь некрепкого алкоголя вроде «Карелии», а потом уж вежливо выпроваживает.

но сегодня просто день посещений какой-то: едва мы окончательно перешли к компоту (которым бабушку научил запивать второе именно я), калиткой скрипнула Вера Александровна. поспать после обеда бабушке не суждено, однако такой собеседнице бабушка рада. они так же усаживаются в кресла со стаканчиками принесённого мной компота и умилительно предаются воспоминаниям. я успеваю помыть посуду, когда гостя призывает и меня в беседу. ей по-советски неприятна моя рабская роль в этой мизансцене. с вниманием больших, слегка на выкате серых глаз, красавица пятидесятих годов Вера Александровна интересуется по-учи-

тельски, что я читаю сейчас, что нам преподают по поводу экономики – наша гостья экономист по образованию, классическому, из Плехановского.

в разговоре разных поколений из потока вежливых оборотов-водоворотов всплывают Гамсун, Хэмингуэй, Кейнс, понятие «транш», которым был особенно озабочен наш очкасто-клочкастый препод... доминанта экономических ожиданий второй половины девяностых: «дадут ли транш». мою иронию Вера Александровна не улавливает, а жалуется, что Кейнса и Адама Смита от них прятали, а она читала за границей в оригинале, как и Хэмингуэя, прекрасно зная не только английский язык. я гляжу смущённо в чёрную смородину, подразумевая, что я-то вовсе не символ экономического освобождения от оков политэкономии рукой свободного рынка. но советский экономист и сотрудница зарубежных торгпредств уже прищипывает мысль в избранном направлении. я смиренно слушаю, слежу за пчёлами и розово-лапыми шмелями, повадившимися на наши флоксы вместо бабочек. и образы из богатой речи Веры Александровны возникают на фоне цветов всё более неожиданные.

муж, директор завода «Каучук», служебная машина «ЗИМ», своя старая «Волга», хорошая, но немногочисленная одежда (чаще серые, бежевые плащи, дипломатические костюмы), квартира в сталинском доме близ Девичьего поля. и при этом – цветные журналы «Советский Союз» для иностранцев на журнальных столиках торгпредств, хотя было всё не как в журналах, но надо было чтобы было... возмущение безграмотностью нынешних экономистов – по простейшим расчётам. никто не знает коэффициента Стьюдента. хотя студенты её поколения – знали. недавно их собирали – всех старых работников торгпредств, в Плехановском институте. столы были богаты – ну как же, пожаловал сам Потанин, он и спонсировал...

произнося «потанин», Вера Александровна даже раскрыла на «а» глаза сильнее, подчёркивая значимость персоны. вот – центр силы-то где. и какой авторитет в глазах пожилой экономистки! хотя, кому, как не ей ведать, откуда взялись богатства Потанина – не умом, не открытием заработанные, а полученные по разнарядке приватизации сугубо по комсомольской линии. один из всех сотен, известных ей по «Плешке». скольких оставил с носом новый русский фабрикант: теперь можно изредка и поделиться в виде фуршета с дачниками-неудачниками...

удивительный цикл: от расцвета международной торговли под красным флагом – до торговли уже своим сырьём и заводами на товарно-сырьевой бирже. всё это спокойно наблюдали красивые большие глаза Веры Александровны. хотя, я бы заметил в них застывшее некое абсолютизированное удивление человека иной эпохи перед мельтешением новых биржевых коэффициентов, брокеров. удивление памятника стоящим у его подножья людям, которые демонтируют его: Дзержинский на Лубянке в 1991-м... и ни слова в защиту Эпохи – лишь сетования на недоданное, сокрытое. хотя им-то завидовали, семье директора – но и работа была на износ, муж рано умер, а сама Вера Александровна имеет скромнейшую дачку в виде пропахшей пропаном кухни-террасы и тёмной спальни комнаты. никаких привилегий, всё что было – ушло с мужем и Эпохой... остались только отблески: даже тут, в глуши, надеваемые ею каждый раз при походе в гости бриллиантовые серьги.

этот разговор Сан Саныч уже дружелюбно слушает, открыв окно в ожидании вечерней прохлады. я плавно удаляюсь в дом и заканчиваю уборку стола. бабушка решает от поднимающейся из травы к креслам влажности – пройтись с Верой Александровной до её дома, так как наша гостья очень плохо видит. может, в этом и секрет так широко распахнутых её глаз – им не хватает привычно видимого поля. а предстоит переходить канавки, мостики. спортивная бабушка моя даже к ста годам верна своему темпераменту и заботливости о неродных, гостям – вежливость, своим – скромность.

я волнуюсь: как вернётся бабушка? её пошатывает, но идти встречать не решаюсь. скорее всего, они стали пить чай уже у Веры Александровны. чтобы не волноваться, накрываю стол грубым, суконным на ощупь, серым одеялом – на нём бабушка будет раскладывать вечерний

пасьянс. хотя, есть сомнения, все ли она отличает карты – но работа ума это главная гимнастика. беру Гамсуна – что днём делаю крайне редко, – и читаю в ожидании бабушки, то есть скрипа калитки. книгу дала тоже сейчас пребывающая в сельской местности, но на своей даче, любимая, Маша. это был один из последних жестов внимания, поскольку тихий разлад наш нарастает. но в словосочетании «Плоды земли», оказавшемся в её руках – словно укор и в то же время мечта. воспоминания о ладеевском нашем счастье, о гармонии с природой. вот я и разгадываю, что же хотела она мне сказать, давая эту книгу...

но радующий скрип калитки – мне не показался. выглядываю и вижу, как чуть сбиваясь с пути, оступаясь и к земле пригибаясь, бабушка пробирается через флоксы к лестнице и поручню, прибитому для неё к стене. я говорю, что уж волновался и собирался. бабушка смотрит весело и задумчиво: мол, кто ты такой, чтоб за меня беспокоиться? такие взгляды и рожают оптимизм, уверенность в мироустройстве, держащемся на таких людях, как моя бабушка, даже когда они не работают, а раскладывают пасьянсы, например. увидев, что я уже застелил серым сукном стол для карт, бабушка треплет меня, как псину, по голове, и это, на самом деле, выражение нежности, благодарности и любви:

– Ну, нахалёнок! Молодец, что подготовил уже.

когда бабушка за пасьянсом, можно спокойно заняться хозяйством: например, порубить дрова, поскольку бывают и холодные ночи порой, а бабушку кровь греет плохо. предстоит ещё одна ночь, приём лекарств, и ещё одна глава лесной жизни героев Гамсуна...

Сан Саныч уйдёт первым из этой нашей дачной идиллии – которая для нас здесь разворачивается лишь два-три месяца в год, а для Свечниковых является обыкновенной, сплошной жизнью. кстати, фамилия это подправленная, как и фамилия Выготский, например: чтобы спрятать корень «выгода» психолог подставил «т», чтобы спрятать базарное «свешай-ка!», педагог подставил «ч», и возникла в корне свечка вместо весов. отец, ставшей в течение его жизни большой, семьи Свечниковых не даром испугался ночного Шурика во сне – зимой у него случился инсульт, причём рано утром, по пути из кухни к рабочему столу. он любил встать пораньше, до жены. поэтому Серафима не сразу обнаружила его лежащим на полу. бессловесного, но выразительно, извиняясь глядящего голубыми глазами, в одном из которых стремительно росла гематома. с трудом жена дотащила мужа до кровати в комнате, из которой видел Шурика до сна и во сне Сан Саныч. здесь его и не стало.

гроб вытаскивали через окно – слишком в деревенском доме узкие двери, не рассчитанные на мертвецов. гроб выдавали через то самое окно, из которого Сан Саныч вручал мне свою библиотеку завуча. по глубокому снегу нашего участка, к нашей калитке – несли. пёс Свечниковых Топа, обычно весёлый, многоцветно-лохматый, заглянул в гроб, как человек – поставив две лапы на нижнюю часть, – и всё понял. в сопровождении неотступного Топы, трусившего по дороге, повезли закрытый уже гроб на дальний край деревенского кладбища, что по ту сторону железной дороги. люди и деревья там как бы соревнуются – деревья вырастают, выступая в сторону поля из хвойной сердцевины лесного кладбища, а люди умирают и уже не помещаются за своими низкими заборчиками на укрытой листвой и хвоей территории...

Серафима Дмитриевна не продержалась без мужа и года: странно и неинтересно было ей теперь вести хозяйство в одиночку, однако опытом хозяйки с нами она охотно делилась. летом, когда мы отдали её козе сыр (покрывшийся плесенью «Эдам» с Киевского рынка), она улыбнулась, унесла домой сыр, а затем вернула совершенно свежим на вид. это чудо она быстро объяснила: плесень это только внешняя, легко смывается тёплой водой, и для коз слишком большая роскошь такая пища, а людям вполне сгодится... и она ушла зимой, следующей.

два их холмика среди болотных кочек под осинами за одной оградой, мужа и жены, сравняли времена ухода. одинаковые тонкие железные кресты – с овальными фотографиями, запечатлевшими, кажется, цвета девяностых. правда, деревенские лица глядят оттуда как-то эталонно, словно из вечности, где позабыли свой век. первой весной без Сан Саныча, на его холме

вырос куст ромашек – не одиночных цветов, а именно каких-то стелящихся, не поднимающихся с земли, словно скорбящих. растущих от изножья к груди. через год, когда Серафима Дмитриевна легла рядом по левую руку, летом куст устремился на её холм. тут и метафор было не нужно: первыми это чудо увидели ближайšie родственники, рассказали нам по-соседски, потом сходили посмотреть и мы. впрочем, это не чудо – здесь что-то, наоборот, слишком физическое, материальное, природное. возможно, сила влюблённости молекул продлила жест руки, когда это не могла сделать отслужившая плоть – и мы увидели то, чего не видели при их жизни. нежность...

ромашки-плакальщицы, казалось, и обнимали, и принимали, и успокаивали, и укутывали – но делала это сильная рука Сан Саныча. незаметная, малословная наша соседка, которая в последнее лето много раз приносила нам плоды своих грядок, так как больше некому было поглощать это обычное изобилие – Серафима тут выглядела невестой, так принарядил этот куст её холм. и строгий, скупой на ласку Сан Саныч казался теперь властным романтиком. тоже скупой на подобные «ласки» в аскетической прозе, Кнут Гамсун об этом ничего не писал.

Вера Александровна не смогла сходить так далеко и посмотреть на волшебные ромашки, она видела всё хуже. однако, если Свечниковы не пересекли рубежа своего века, то она прожила почти все нулевые, правда, на даче почти не появляясь. она скончалась после мучений с глазами и диабетом, когда скоротечная онкологика инородных молекул взяла её за горло, неподалёку по времени от нашей бабушки, до последнего лета жившей на даче. и теперь лишь одна, самая из них молодая, баба Зоя даже летом в длинном розовом пальто бродит по асфальтовой дорожке вдоль своего дома, прошлой зимой она сломала руку и лежала в больнице...

мир, казавшийся таким устойчивым, многогранным и нерушимым благодаря старожилкам, – оказался отчаянно хрупким.

Крайнее лето детства (рассказ)

слишком долго и давно я собирался посетить Сергея по-соседски. да и, признаем, он сам всё путешествовал, либо же оставался в Москве по делам, а потом я торчал там из-за ремонта. в общем, лишь к окончанию лета мы совпали: с утра и я один на даче завтракаю (кот мой всё не появляется), и он – у себя...

есть у меня не то, чтоб суеверие, но ощущение-подозрение какого-то ритма жизненного, в соответствии, в такт с которым позвонить лучше не до, а после завтрака, помыв посуду, набравшись сил и ощутив свободу, а также пустоту родного помещения и перспективу писательского дня у ноутбука, если никуда не поеду, нахожу букву «Ш», он там первый в списке абонентов (потому что вторая буква «А»), нажимаю зелёную трубочку слева...

– Салют!

– Приветствую, дружище!

– Ну что – я к тебе или ты ко мне?

– Давай... лучше ты ко мне, мы как раз тут с Ваней гуляем.

– Тогда я кручу педали, как буду поближе – наберу.

– Жду, дорогой!

приторочив на багажник журнал «Москва» трёхлетней давности с мужской строгой статьёй про коллегу, вытаскиваю из кирпичного сарая свою зелёную «Украину», модернизированную татарбайтерами (мягкое седло: пока брусковый дом нам строили, я им оба велика дал в пользование). парадокс кирпичности сарая и древесности дома разрешается только исторически: однокомнатный сарай с туалетом пристроенным, в полкирпича, сложен на мамины сбережения накануне дефолта, а дом уже в середине нулевых на наши общие. в этой кирпичной прохладе, ведь солнцем прогревается сараюшка лишь к вечеру, я и начинал писать «Поэму Столицы» и первые левацкие статьи. колёса велосипеда, будто на цыпочках, иногда действительно приподымаясь, осторожно следуют меж малин, флоксов и уже почти готовых к первому сентября гладиолусов – чтоб никого не обидеть, не сломать, по плиткам дорожки к калитке... кстати, два слова появились в моём детском лексиконе одновременно и до сих пор звучат родственно: «калитка» и «Калистово», это следующая от Москвы станция, где мы снимали раньше, пока не обзавелись своей дачей, точнее, четвертинкой дома на двух сотках. мой нынешний путь – наоборот, назад, к столице...

ну что вы, глупые кошки? как всегда тусуются у нас на участке, а моего-то чёрного и нет гостеприимца, загулял. уже скоро неделя... не нужны ему здешние, доступные – ему каких-то далёких подавай, в его немолодые годы. а здешние как народят своих серых котят – так весь кошачий табор живёт на крыльце (укрытие от дождя). мой благородный хозяин дома, выходя после завтрака или обеда – осторожно, на цыпочках своих беленьких «туфелек» сбегает чернолапо, огибает котят. недовольно бурчит своё «ммяк-мЯк-мрр», но негромко, как бы только нам жалуясь, выговаривая за излишнюю толерантность, котят самих не пугая. они же по дорожке иногда скачут к нему – не папа, но всё равно, поиграть хочется с большим дядей...

защёлкиваю калитку, въезжаю с мостика вверх на пустую глинистую дорогу, гляжу направо... нет, прокачусь уж я подольше, в объезд, налево. заодно и котейка своего повыглядываю, позову – в период кошачьей озабоченности он может и не отзываться. был случай, мы уже машину родни, Комиссаровых, загрузили, усадили бабушку, чтоб уезжать – а его всё не было, вон там справа у Зуйковых где-то заседал в женской компании в кустах, и вышел случайно, в последний момент, тут и сгрябсили сразу, и поехали. а так – готовы были даже вернуться специально потом на электричке, чтоб догулял, дожидаться тут...

приятно скорость набирать на повороте и на взлёте: топография хулиганского детства, изрядно уже застроенная, всё же обвеивает вневременным, здесь каменисто пахнущим ветерком. справа «стройка» – которая вовсе не стройка, а территория, странно совмещающая пожарный пруд, общежития Горного института, его экс-столовую, превращённую в магазин, и лесопилку (ещё там было кладбище крупногабаритной строительной техники – автокранов, самосвалов с нагретыми солнцем кузовами, в которых мы курили и предавались подростковым стыдным и познавательным грешкам). слева улица, на которой стоит поискать моего нестареющего кота-грешника. еду неспешно, просматривая справа и слева кусты, канавы, даже за заборы заглядывая, где не сплошные... умеют прятаться они в свой брачный период, только поест забегают, да и есть перестают – страсть-котопорождение вытесняет прочие витальные мотивы, включая самосохранение.

уж дальше перелеска он точно не ушёл бы. вот загулял бесёнок – седина в ребро! у него она не только «пробила» черноту на голове, но и повсеместно украсила, подчеркнула благородство полусиамское... еду подростковыми тропинками по корням и лужам к поликлинике наискосок, с тылу... в этом рукотворном квадратном лесочке был развеян миф о непобедимости Зуйка – местного хулигана. он давно терроризировал Димона, моего друга, и нашу всю компанию считал слабаками, трусливыми дачниками. тощий, конопатый, узкоглазый и с зайковато торчащими зубами, был он длиннорук и нагл не по годам. стрелял сигареты, иногда классические двадцать копеек, но всякий раз искал повод доказать своё территориальное первенство: местный! Димон хитро канализировал агрессию Зуйка в моторазговоры, это их сблизало, однако Зуёк мог при этом запросто отвесить и ему, и нам сайку или пендель, даже в плечо двинуть, задиристо кивнуть «чё» заячьими зубами в ожидании драки, пытался поймать «на слабо», и всегда уходил победителем. а время-то наставало уже не детское, мы завели знакомства в товариществе «Рассвет» с острогрудой Таней и красивоглазой евреечкой Светой, и побаивались опозориться пред ними в случае встречи с Зуйком, у которого имелся брат постарше, но и поспокойнее. правда, это не сулило нам спокойствия. всякий раз сидя с рассветницами в поле за Даниловкой, кто-то из Димонов работал дозорным, пока другой невинно, дружески обнимал – русский Димон черноглазую брюнетку Светку, а я кудряво-русую Таню с игрушечными ямочками на щеках, приглубить всё не решался... естественно, приглашение дам в кино было единственным культурным досугом помимо лесных и полевых прогулок в неизвестных пока всем нам целях. в кино можно так трогательно подержаться за руки! и пробудить неимоверные надежды. но всё портит Зуёк: на вечерний сеанс ходит вся ашукинская молодёжь, и уж тут не миновать встречи. мы даже стали смотреть пораньше, выбирать дневные сеансы, чтоб не пересекаться – однако девчата днём не склонялись смотреть кино, как-то немодно. и ожидаемое случилось: Зуйки сверху стали в нас плевать обжёвками голубых билетиков ещё в зале, снижая пафос драмы «Меня зовут Арлекино». мы перевели дам на непростреливаемые места, однако конца сеанса ожидали с ужасом. с нами был и Пашка – высокий, тощий горожанин, тоже дачник, нас немного постарше, обаятельный потомственный интеллигент, папа его, кажется, математик. Пашка напоминал доктора Борменталья из экранизации «Собачьего сердца», в юности...

едва досмотрев, как Арлекино бессильно ревет над своей изнасилованной возлюбленной, мы поспешили эвакуировать дам через запасной выход, который всегда открывали, чтобы более многочисленные посетители следующего, последнего сеанса, уже повзрослее и поразвратнее, не сталкивались с теми, кого в десять загонят спать. по вполне ещё светлому вечеру мы зашагали вниз к речушке, однако оторвались от Зуйков не так уж далеко. напоминая кенгуру, младший Зуёк поскакал к нам по асфальтовой дорожке, под гору. приобнял Димона и, как бы говоря с ним о чём-то интимном, увёл вперёд, отвесил лёгкий профилактический вдох. Димон ему глупо, улыбчиво подыгрывал. этим моментом мы воспользовались, мгновенно посоветовались, и я увёл рассветниц к памятнику ашукинцам-фронтавикам, к станции. впро-

чем, убедившись, что они в безопасности под охраной серебристого солдата, указывающего тяжёлой ладонью на Москву, – я поспешил вернуться к товарищам. за это время компания врагов и друзей дошла до аптеки, и перебранка уже шла на расстоянии: Зуйки пошли дальше по шоссе, и Пашка им пригрозил загорелым кулаком, на что младший демонстративно навесом сплюнул через заячьи резцы, зная что расстояние безопасное.

проезжаю сейчас как раз ту краснокирпичную поликлинику, возле которой, видимо, Зуёк и решил снова атаковать, нагнать нас – ему явно льстило, что они вдвоём с братом так пугают троих дачников и одного местного безвольного рыжего толстячка... а мы, пока шли своей тропой возле дач, бурно совещались: продолжать терпеть или всё же пойти контратакой? Пашка был уверенно за бой, лишь на мои дипломатические аргументы отвлекался-сомневался слегка. да, это война на всё лето, но честь и внимание дам дороже. решили, если ещё Зуёк возникнет, бросимся все, нас же по двое на каждого Зуйка, уж справимся... но не потребовалось. в перелеске Зуёк снова зашагал в нашу сторону, тут-то Пашка и остановил его. тот пытался пробиться к Димону – мол, дело это только наше. но Пашка, всё прекрасно понимая, просто сложил его пополам коротким ударом под дых – «зуб за зуб». Зуёк попытался помахаться на расстоянии вытянутой руки, ноги... но был немедленно сбит с ног, и вот уже сидя на враге верхом в своей интеллигентской клетчатой рубашке-поло, Пашка набрасывал ему короткие удары по хитрым скулам, почти как пощёчины: «Будешь к нам лезть ещё?» – «Буду...» – «Будешь?!» – «Не буду.» – «Клянись, что и к Димону!..» – «Не буду».

краснощёкий скорее от позора, нежели от побоев, непривычно молчаливый Зуёк зашагал, как драный кот, к брату, который проявил мужество и благородство старшего, стоял и курил на дороге спокойно: бой один на один это святое, третий не лезь... да и весовые категории одинаковые. с тех пор мы вообще перестали видеть младшего Зуйка, в следующем веке он женился, свадьба под гармонь та гремела на пол-Ашукино, потом запьянствовал, а спустя год разбился на мотоцикле. старший брат пересел с «Урала» с коляской на «Ниву», женился на вдове брата и продолжил мужской род, довоспитывая и племянника – видимо, молодой криминальный ген (исправившегося, ставшего народным скульптором) деда достался только младшему. и мне кажется, что сыновья от братьев-отцов в точности повторяют их собственную диалектику характеров: хилый хулиган и сильный тихоня.

Ашукино стоит на пятидесятом километре, и основано когда криминальный и прочий асоциальный элемент высылали не за сто первый, а сюда... об этом (без криминальных подробностей, просто о поселковом юбилее) сообщал красный транспарант в кинотеатре: «1946–1986», сорокет, и все ссыльные вполне перевоспитаны, социализированы. работают общественная, со школу размером, баня, кино, колхоз, кукуруза в полях, магазины-кооперативы, школа, молокозавод в Мураново. победа социализма в районном масштабе... теперь и баня переросла в чей-то личный дом, который стал казаться меньше под новой тёмной крышей, и в кинотеатре – автосервис. а за ним особняк с каминной трубой, общественные уголья отделил забор, и на склон, где мы поспешали от Зуйков, – с бесстыдством частного собственности вывалены подробности быта нового хозяина «Восхода» – может, киномеханика это дощатый туалет? назовёт он автосервис «Закатом» или нет?

я потихоньку выезжаю по ровному асфальту, по улице Гагарина из родного посёлка. загогулина за мостом налево, в сторону Софрино тут – это вполне эпохальная загогулина, улицу Гагарина сменяет... улица патриарха Пимена, при котором (брежневские времена) этот «свечной заводик» Московской патриархии и открыли. но название улицы недавнее, как и ограда нейтральной полосы, меж дорогой и заводом, где собирали грибы все желающие – а за оградой псы, видимо, окропленные святой водицею. волкодавы следят, чтоб нехристи не посягали на святость частной собственности, и выщечка имеется вполне в стиле умучившего немало батюшек ГУЛАГа... почему-то в СССР этого (ни собак, ни вышек) не требовалось, впрочем, и места завод церковной утвари занимал поменьше, и дацзыбао «Русь святая, храни веру православ-

ную!» так навязчиво не агитировал всех пассажиров электричек. кормящий РПЦ и церковного олигарха Пархаева да банк его «Пушкино», завод разросся неимоверно, как роль религий и церкви в государстве. а в перестроечные годики мы там на помойке набирали себе алюминиевых крестиков – думали, косухи отделаем как истинные металлисты.

вот тут кручу быстрее педали – всё это раззолоченное, жаркое безобразия, хоть и безлая сторожевых псов, но чем-то отпугивает – столько «лежачих полицейских» тут налепили асфальтовых, что проще съехать на автостоянку и оттуда уже пешей дорогой – к запасному пути электричек. специальную платформу сделали «Софрино-пром», чтоб заводчане поближе подъезжали, но теперь у них личные авто, Русь-то не подводит, хранит православную... а я на ту сторону, взяв за руль и за шиворот свой «ММВЗ» – так его зовут по инициалам, мой зелёный вел. «Украина» – это просто типаж, так сказать...

обычно индустриально-железнодорожный пейзаж этот мы видим с поезда, проезжать его медленно и низко как-то непривычно... тут было и училище машинистов, вроде бы, Софрино ведь узловая станция, помимо церковной и колбасной славы, утвердившейся уже в девяностых. следующая в противоположном моему направлении, назад к даче, электричка навевает тревогу – причём уже в каком-то окончательном виде. и солнце в глаза... где же мой котеец? с этой насыпи, что проезжаю возвышенно, в этих краях не увидеть? под этим солнцем, словно при-тянутым электричкой – нигде он не сидит в кустах, время?..

проехав пешеходной тропинкой под кустами и затем по проезжей меж фурами к знакомым продуктовым зонам Софрино, сворачиваю налево среди пешеходов, ныряю к мосту осторожно, тут узко, а потом пытаюсь инерцию использовать чтоб заехать на горку. чтобы повернуть тут в сторону колбасного завода придётся по пешеходному переходу ехать, ждать...

и вот, разгоняюсь по длиннющей улице Ленина, пересекающей шоссе, которое ведёт на ту сторону – как раз к нашей родне, к Комиссаровым. сперва копчёностями пахнул небольшой колбасный, затем пылью выезжающего «камаза» обдал плиточный завод... затем настала лесная зона, дач практически не видно за хвойными укрытиями, зато комары имеются...

протолкнулся сквозь очередь фур и бензовозов, выстроившихся к переезду – тут уже начинается посёлок Сорок третий километр. мы проезжали его здесь же, пацанами, на велосипедах, и однажды на мопеде вдвоём: у нас была сверхзадача навестить отца того самого Димона, которого бивал Зуёк... он обитал с другой семьёй в Зеленоградской, прибалтийский такой, степенный художник, на большой, старинной, витиевато застеклённой террасе-«фонаре». визит Димона к нему был неожиданным, так что биологический отец не смог ничем угостить, говорил сдержанно, популистски хвалил мне сына, зато Сальников, мой старший тёзка, был несказанно рад видеть подлинного папашу, прямо искрился, ведь жил-то с отчимом, о чём компании нашей не говорил до сих пор. пробыли в гостях недолго, этикет семейной жизни папы-прибалта не позволял, потом задумчиво, осенне как-то покурили у калитки большого заросшего участка-склона. назад возвращались мы, укатывая в лес всякий раз от прямой видимости электричек: Димон боялся, что возвращающаяся с работы мать увидит знакомый рыжий бензобак в окно и догадается, куда мы ездили на его «Дельте». всё та же безотцовщина моего поколения... но сколько рискованного романтизма и мужской солидарности в этом подростковом рейде!..

дома тут уже от сорокового и больше – улица Ленина почти как по десятилетиям советским пролегает. звоню Сергею, в надежде, что уже близко подъехал – однако он советует поехать к станции и оттуда по прямой. то есть ещё катить-то порядочно. въехал с усилиями устало ещё на одну горку, а на спуске – свернул направо, к железной дороге. почему-то вспомнил, въезжая в здешнюю благоустроенную дачность сперва набоковского Гумберта, тоже велосипедно колесившего по университетским кварталам, а затем и вовсе вообразил беспечного Генри Миллера из «Генри и Джун». писательское братство подсказывает образы при сближении...

церковь белокаменная строится в лесочке у станции – уж не Серёгин ли отец инициатор? спуск к платформе обнаруживается быстро, с первым же просветом в леске. я качу по насыпи над нею, над пустой, безлюдной и ещё летней, залитой щедро солнечным теплом платформой. бабочка «тигровый глаз» на тропинке разлеглась: то ли своей смертью полегла, то ли просто задумалась, так что лучше объехать. каменная могилка за станцией напоминает об опасностях железной дороги, которые предрекали нам советские железные плакаты на каждой станции... теперь их поубавилось, зато немислимые прежде захоронения (или только надгробия?) в местах прохождения и скопления живых – появились. прибавилось мертвецов, прибавилось церквей. по ту сторону рельсовых путей, за лесом, в одном из дачных ведомственных посёлков за собственным забором – своё лето доживают Комиссаровы, которых мы давно собирались навестить, но сейчас у меня приоритет иной. ехать по улице из трёх букв, аббревиатура это чего-то экономического, торгового, говорил Сергей...

а вот и он сам – в глубине лиственной аллеи у поляны, вдали, движется пока лишь подсвеченным силуэтом со своим сынишкой. Серёга как всегда в великоватой или кажущейся таковой на его плечах светлой рубашке, рулит рогатым рулём велика системы «Кама». педалирует в развалку, непривычный к этому велосипеду. конечно, это именно они, отец и сын, я не ошибся в выборе направления. весело ускорюсь, проезжаю скромные, чаще деревянные дома и террасы международно-торговых работников или их потомков, скорее. и вот уже я замечен, мы едем навстречу: зелёный мой и бордовый их велики. забавно он руль держит – будто плуг...

– Здраврова! Знакомьтесь, Иван, Дмитрий...

видимся впервые, поэтому и Ваня, вполне самостоятельный и затейливый уже дошкольник, разглядывает меня с интересом и задором, и я высматриваю в нём баланс Аниного и отцовского. веснушек, кстати, я не замечал на родительских лицах ни разу, а тут имеются. всё-таки в мальчонке больше мамы пока – мягкости, округлости щёчек, задумчивости. вот мы уже вместе катимся вокруг детской площадки, минуя выгороженную помойку, а он шагает рядом и говорит, как бы рассуждая про себя:

– Нет, папа теперь уже дворником не работает, мой папа поэт, он пишет стихи, у него книга вышла...

эту тему он взял из нашей рабочей переборки фразами, добавил мамину интонацию, донёс далёкую реплику: возможно, так она ему и объясняла, как отвечать на вопросы о папе в детсаду... недавно вышедшая книга главный источник для меня знаний о сыне, там много переживаний, связанных с Ваней. всё это в далёкой зиме и подальше к Москве – в Пушкино, в морозах, в больнице по ту сторону железнодорожного полотна, где и моей маме сломанную руку чинили позапрошлым летом, а Ваня со своей мамой вместе лежал, болел... мы катимся то против часовой стрелки, то наоборот вокруг площадки, бойко говорим, устраиваем перегонки, но в какой-то момент, снова проезжая помойку замечаем, что отвалилась деталь от бордового велосипеда.

начинаем совместные поиски – сначала тем же путём, потом наоборот, чтоб незамысленным глазом. когда отец и сын утомились и уселись на детской площадке, я один продолжил поиски и, слыша за спиной проезжающую электричку, поймал себя на дежавю. точнее – на должном, на том занятии, которое прежде всего, надо же Басю искать, кота разыскивать, где ж он... вот, выходит, и тут я его ищу, словно то же действие, что полагалось по месту жительства, началось в определённое время, пока светло, но там, где я оказался, как по часам. голову нагнул над рулём при медленной езде, и просматриваю каждую травинку... нет, ни гайки, ни детальки не нашли мы. я припарковался к отдыхающим. вдруг жена позвонила из далёкой Сибири, я тут же ей перезвонил, и мы радостно пообщались: передал привет Сергея и беглый портрет Вани. а женушка – восторги тёщи по поводу главы из последней книги, где отрок Сергей работал алтарником при батюшке...

настало время отвести сына домой – и дом оказался рядом, у площадки. Сергей, пропуская вперёд будущее поколение, проинструктировал меня негромко:

– Дома и отец и мама, так что ты, сам понимаешь, уж чего-то такого яркого не высказывай...

– Мы опытные шпиёны, буду тих и спокоен.

пока Сергей снимал в узком предбаннике свои неизменно остроносые ботинки, я успел ощутить почти абрамцевский уют террасы. Иван устроился смотреть мультики и играть на вполне персидском на вид ковре в большой комнате наподобие гостиной (с древним киотом), а нас матушка писателя пригласила откусать котлеток и испить чайку на широкой деревянно-стенной, как у нас и у многих по нашему направлению, кухне.

– М-мм, великолепные котлеты!

– Спасибо, Дима, сама тут готовлю...

– У нас в Ашукино в бывшем кафе «Ёлочка» хороший мясной открылся...

– Знаю-знаю, часто там покупаю. Вы берите ещё, и помидорчик...

– Всё-таки как назвать роман решишь?

– Облом: вариант, что ты предлагал и сам хотел, забит. Так у Гюго роман называется...

– Именно роман, не повесть, точно?

– К сожалению...

– Может, девять-девять-три?

– Да тоже самое, и непонятнее...

подкрепившись на финал сладким и крепким чаем, мы взяли велики и устремились уже вдвоём, по-взрослому, почти наперегонки – тем же параллельным и близким к железной дороге коридорчиком вдоль деревьев и высоких глухих заборов, что когда-то с Димоном мы ехали к его биологическому отцу. диалог ускорился сообразно движениям и кровообращению: о книге уже вышедшей его и о моей готовящейся...

– Если ОГИ возьмёт – хорошо, солидно...

– Да всё неспешно как-то у них, впрочем, за это время я подредактировал, выкинул добрую треть – оставил её для продолжения Поэмы и отдал печатать журнально...

– Всё же будут рассказы или роман?

– Роман, так лучше и теме роднее...

понимаем друг друга с полуслова, как старые дачные друзья. загогулины нашего пути и разговора застают меня врасплох: тут не ориентируюсь, Сергей уже показывает прежние участки, где обитал, а напротив – было поле... в Калистово у нас тоже самое, половину поля железно отгородили, коттеджи под ключ строят. везде дачная экспансия, а колхозов, полей, комбайнов – и след простыл... даже бывшую дачу разухабистой Гали Брежневой покирпичнее перестроили и обуржуазили глухой, почти кремлёвской стеной какие-то нынешние госохранники (как и участок Сулова на полную элитность обихаживает Шувалов вдали отсюда). пока мы колесим, словно дети, и темы открываются прежние – лесные страхи, комары, собаки. Сергей их, прямо как композитор Кравцов (студенческий друг мой, правнук психолога Выготского), побаивается люто. о псах заговорили – и на них напоролись, когда поехали вдоль леса, завершающего посёлок – впрочем, гуляли обе собаки с хозяином, но мы припустили обратно, а я даже ноги на руль закинул, как в былые годы, потешно... юный даже в отцовстве своём новреализм... развеселились, разогнались, автоматически поехали к дому, но потом как-то так заплутали, что постепенно стали возникать кварталы городского типа и перекрёстки со светофорами – это хозяин местности залучил меня в Зеленоградскую каким-то тайным лазом...

впрочем, ничего удивительного: не дружившие тогда, мы сейчас навёрстываем колёсно своё детство, почти как с Димоном, ныне открывшим свой автосервис на Петровско-Разумовской. были и у Серёги друзья, пошедшие не в творчество, а, напротив, в бандосы – мы, пишущие с той натуры восьмидесятых, выпадаем не на каждую дачную компанию... а из дачных

компаний далеко не все живы – «на любом подмосковном кладбище их целые аллеи, молодых, улыбающихся», как рэпЕл Вис Виталис, и верно, при дорогих постаментах с выгравированными крестами и годах смерти девяностых, они и в заашукинском поле, в кладбищенском лесу.

жмём наперегонки, и мелькают темы разговоров – о жёнах (он – в прошедшем времени, я – только вступивший на этот путь), о том, что я-то работаю на прежнем месте, держусь, а Сергея с «Маяка» уволили за революционность. останавливаемся передохнуть в лесочке у стелы памяти зеленоградских комсомольцев, ушедших на фронт. хмурое, хвойно заросшее место, солнце едва пробивается, выдохлось, пошло к закату. мы ощущаем себя пацанами, укатившими подальше от родителей, и не хватает только достать из тайника тут где-нибудь (у нас был под плитой заросшего порога запасного выхода той самой поликлиники) – пачку «Космоса» или «АС», закурить, оглядываясь чтоб не было взрослых прохожих... Сергей приблизился к стеле, читает героическую вводную и фамилии в упор – может показаться, что читает с издёвкой, с прищуром. ибо всё это богатство-наследство молодонаглейцы у нас упёрли, буквы подзолАчивают во славу своих синих, белых и в самую последнюю очередь красных знамён... а меня вдруг потянуло домой.

и тут же мама позвонила: садится в электричку, через час чтоб быть. я сообщил, где мы с Сергеем, была мысль сесть прямо в её поезд тут или на сорок третьем, но решили что просто поеду сам, своим порядком... и медленно покатали обратно – теперь все перекрёстки и перегоны кажутся длиннее, постепеннее, уже не перегонки, а повторение, обратное чтение, усталое...

прикатали назад. чтобы поставить велосипеды отдохнуть – снова прошли по бетонной дорожке с хаотичным вкраплением голубых осколков кафеля, изразцово глядящих снизу. около могучей туи я поставил свой вел, подумал что маленький домик дополнительный мог быть тут этаким флигелем для гостей-паломников... вышли втроём с Ваней на площадку, мимо летят уже по частому вечернему графику электрички, напоминая, как обычно я сам из них это место наблюдал, поляну за круглым одноэтажным строением непонятого назначения, годов пятидесятых.

– Раньше тут всё в колючей проволоке было – объект.

– А теперь вон какие шикарные игрушки в песочнице оставляют. Нам такие машинки только в каталогах иностранных встречались...

– Спасибо Ельцину за это, – резюмировал ироничный товарищ.

– Ну, как твои поездки с презентацией, как тираж идёт?

– Книга продаётся хорошо, почти весь тираж ушёл, говорят. Ну и в библиотеках, в поездках было весело. Да всё классно!

Сергей, по-деловому улыбнувшись на начальный закат, почесал под розовой рубашкой смуглое молодое пузо – скорее, подростково-впалое, нежели взрослое, отцовское. его длиннорукая привязанность к движениям, перемещениям сына по площадке – понятна и священна. устремлённость взгляда через очки-лекторы в мир следующего поколения не прерывает мыслей и разговоров нашего. интеллигентна его озабоченность – одним словом. в этой необременённости что-то проглядывает архетипическое – и сразу мне вспоминается незнакомый Сергею, из другой литературности Филипп, как сам он расшифровывал своё имя, «любитель лошадей». Минлос, давно и уже дважды отведавший отцовство... именно его домашние интонации, адресованные детям, ускоренные их ритмами – столь знакомые и значимые в наших разговорах, умные, выводные интонации, – я запечатлел как знак отличия, как веху века. нового, не того, в котором мы вдвоём что-то изрекали, пререкались и предрекали поэзии, року, когда творили в его комнатке с видом и куревом на осень... и вот новый век, новый стиль, новый товарищ с теми же самыми интонациями – и, как ни странно, к этому стилю я имею самое первичное отношение. хотя именно тогда, испив у Минлосов всех густОт интеллигентских мос-

ковских чаёв, я обособился, и писал в девяносто первой школе свой Манифест радикального реализма весной...

приглядевшись к молодому папаше и требующему внимания сыну, решаю улизнуть, давно уже пора. долго прощаемся, улыбаемся, провожают меня до того же конца тропинки, где я их и увидел впервые... так я усиленно им махал, обернувшись уже на ходу, что съехал с пути, к дачам, остановился даже. а потом уж поднажал на скрипучие педали...

и станцию проехал, на этот раз не безлюдную, и в лесок въехал дальше строящейся церкви теперь, и самозабвенно катился в сторону улицы Ленина, минуя дачные перекрёстки и раздумывая, как вовремя всё-таки навестил коллегу... но тут зазвонил мобильный, достал его из велосипедного «кошелька». это мама, наверное, проезжает тут или уже приехала, с улыбкой я говорю своё «алло»...

– Дима!.. – голос взволнованный, показался мне радостным сперва, неужели кот пришёл?

– Я нашу кошечку нашла... мёртвую.

обман слуха, это был плачущий голос. всё что я понял в этот миг, это что надо как можно скорее оказаться рядом с мамой, сказал «лечу». хотя, как тут перелетишь Софрино? удивил неспешных дачников своим неистовым разгоном. нет, конечно, были такие подозрения, слишком уж долго не возвращался, и представлялись худшие картины: где-нибудь в кювете отдалённом лежит, павший в бою с котом-соперником или собакой загрызенный, и не найти...

и пока в Москве торчал из-за кафельщика, выбрасывал вместе с ним днём, и ночью в одиночку, мешки с обломками старого кафеля – тоже был какой-то слишком уж отчаивающий, говорящий эпизод, который можно счесть сигналом. повёз на телеге тяжёлые два зелёные плетёные мешка на ту сторону Каретного, к Садово-Самотёчной, там у подворотни стоял кузов с аналогичным строительным мусором. и вот, пока ждал у светофора, обратил внимание: идёт и плачет девушка. длинноногого, быстро идёт – но заметно, что из-за слёз видит плохо, иногда останавливается, что-то в мобильном тычет. я повёз свою упрямую телегу по «зебре», медленно – быстрее трущиеся о мешок колёса не позволяли. и понял: плачущая девушка в светлом кружеватом одеянии идёт настолько быстрее меня, что даже оклика с моей стороны не услышит. это явно какое-то у неё любовное расстройство, а виновник его, возможно, едет тут медленно по Кольцу на открытом шикарном авто, и тоже размышляет, не вернуть ли. может, это было с её стороны моноспектаклем для него, мерой воздействия. мне хотелось окликнуть её, отпить дома ароматным чаем – хоть и в строительной пыли кухни... но тяжёлый, как сизифов камень, мой груз – не пускал, буквально не пускал. бросить его и бежать за ней? нет – каждый тут своим занимается... я довёз и забросил, уже сильно за день уставший, мешки в кузов, и успокоил себя: не моя это судьба шествовала, моя (жена) в Сибири, а гуманизма ей, гламурной, чаю моего вряд ли хотелось... но в плаче так отчётливо звучало ощущение несправедливости!.. и яснее мне стала невозможность отрыва отсюда, бегства на дачу и активных поисков Баси. прикованность какая-то, – всё тут зашифровалось. слёзная девушка ушла дальше к Самотёке, а я пошёл назад домой, вспоминая эту встречу почти как картину из сна, по законам сна, когда примерзаешь к земле, не можешь зашагать быстро, куда хочешь. останови, оклики я её тогда – может, всё было бы иначе? проявить доброту («Девушка, я могу вам помочь?») – и злоЕствие отступит на моём направлении?..

время ли суеверным мыслям? еду, не переставая крутить педали, пересекаю автостраду со стоящими в очереди к переезду, гляжу на них, за лобовые стёкла так, что волнение передаётся: «пропустите уж». по лесной, уже софринской части улицы – жму без усталости, срывая сердце. каким медленным может оказаться велосипед!

кое-как, обгоняя пешеходов и вынужденно тормозя, миновал и мост, и к станции в гору поднажал – конечно, на электричку надо, каждая минута дорога и тяжела там маме без меня... как раз идёт, светит прожектором от Сорок третьего электричка, успею перебежать все рельсы. но зачем, зачем эта песня именно сейчас?! возле складов звучит спокойно, замедленно, осмыс-

ляя закат. словно из тех, восьмидесятых – магазинный, из радиотехнического отдела голос Ротару, нелепо вздыбивший задумчивые строки Тарковского «вот и лето прошло, словно и не бывало...»

вот только не надо этой пораженческой философии, фатализма не надо! «как лист пятипалый» – прямо в ухо весть легла мне, гонит меня весть трагическая. успею даже по платформе на велосипеде проехать к первым вагонам. что-то там пассажиры вычисляют, выбегают – от кондуктора перебегают, конечно же, но у меня на это времени нет. втаскиваю в тамбур велосипед и гляжу в окна двери, подгоняя пейзаж, который так спокойно проезжал в обратном направлении...

– У вас за проезд? – полный парнишка-кондуктор вошёл в тамбур и недоверчиво заглянул.

– Мне только до следующей... У меня кот там погиб, вот вызвали.

– Ну... Если до следующей... Но я проверю.

– Не обману.

взглядом сказал больше, чем словом. еду взаймы и подгоняю поезд навязчивым мотивом из песни Ротару, в недобрый час прилипшей. важные, важные километры – всё ускоренно. через рельсы, вперёд всех пассажиров, соблюдая вежливость и этим усиливая сиротливость свою. пристанционные прогулочные отроческие дорожки – теперь слишком длинными кажутся, пролетаю их на уже сбивающемся одном дыхании за три минуты. и на улице Белинского родимой вижу маму, а она меня пока не видит, всматривается, рядом стоит соседка Галина Павловна, молодец, не оставила в трудный час.

мама накрыла котейку листом лопуха – так что я и не заметил, проезжая. подходим вместе, открываем. открытые любимые глаза светло-зелёные, даже зрачки не расширены – в один миг был сбит. ничего не сломано, не повреждено. просто наподдал неведомый незнакомец своим бампером – и вот он на обочине, в траве, удивлённо-неподвижен. а лежит уж сутки-то точно. маме казалось-надеялось сперва, что, может, живой? просто повреждён?.. настолько живые глаза... как же так – ну, стояли все эти кошки, эти загулы такой беспощадной последней фотографии? щекой уже прилежался к земле, но погиб точно после дождей, сухой, лишь агенты земли жуки выели кое-где чёрную шерсть.

санитарная неприязнь к неживому, даже родному – запах, чужой, предательский дух разложения. от шёрстки, столько раз перецелованной, от обласканной благородной фигурки... бегу домой за подходящей коробкой, перчатками и лопатой – безжалостный, с померкшим летом в глазах. в перчатках резиновых берём, загружаем, несущим дорогой груз. соседка-бабушка галпаАлна и тут сопровождает. говорит, думала – ваш, не ваш? да и сами как могли не заметить в середине улицы? правда, я приехал вчера в темноте... мимо прошёл, а он уже тут лежал... если б утром поехал в эту сторону, то одного проворота педали хватило б, чтоб найти и дальше уже никуда не ехать. но детство и лето отсрочку дало – на день...

как же ты полегчал, дуралей же ты мой, дуралей!.. мало ел последнюю неделю, но мама накормила курицей в последний раз до отвала. и вот погиб, в ходе любовной войны, сентиментальной неразберихи – ведь задумался же о своей временной избраннице, не испугался даже, не ждал такого удара от людей, когда шёл тут, как хозяин улицы... несём на край поля хоронить – посреди такой душной внезапно жары, на закате. а дети играют посреди улицы, и им невдомёк, да и лучше.

в кустах, уже разросшихся до высоты деревьев, в месте укромном и тенистом – зло, ожесточённо вырываю сухую глинистую землю, рублю её беспощадно, перерубаю глупые корни, ощущая, как разложение родного кота-товарища наступает, подступает, удушает. наш и не наш – вот как это всё понять, эту смертную диалектику? всё менее наш – так точнее, облик тоже меняется, но всё родное ещё узнаётся, однако уже островками, всё менее верится, что это наш божественный Баст, благородный потомок питерского чёрного Кузи и сямской мамы Симы

(Голоюшком её ещё нежно звала первая любовь моя Маша, подарившая живой оберег, спутника моей дальнейшей жизни). всё это вместе со сцеплением молекул распадается, ускоренно, в закатном зное. поэтому надо скорее скрыть от глаз, положить в пыльную прохладу земную.

– Ну, достаточно, – сказала мама, и я перестал углублять вырубленный в сухоглинке куб.

подстелили газетку и другой накрыли, спиной вверх положили окоченевшее родное существо, всё менее близкое – потому что эйдос кошачий это гибкость и мягкость. тотчас стали засыпать выкопанными пыльными комьями, сверху прикрыли могилку листом толстой фанеры. пошли домой. конечно, лучше так – самим похоронить, а не гадать, куда делся. у меня самое первое подозрение было – что ушёл уже по старости, подальше от нас, чтоб нас не обременять. погиб мгновенно – может ли это успокаивать нас? не узнал неприятных встреч с врачами, как наш первый, рыжий Кеша, прожил немалую жизнь – четырнадцать. ушёл не дряхлым, а в расцвете сил и желаний, хотя, уже были кое-какие ревматические проблемки... последние разы, как поднимался ко мне на второй этаж, так шёл по кровати, выбирал путь полегче, чтоб не прыгать высоко, разваливался на коленях и балдел, тотчас засыпал в надёжных руках моих, положив в левую ладонь тяжёлую головёшку свою, а я продолжал одной рукой тихонечко печатать на ноутбуке. Басе стук клавиш не нравился: переходил на стол валяться, но после снова уходил – жарковато днём у меня наверху...

сюда он и пришёл сегодня, вспоминаю теперь суеверно, – в утреннем сне, перед пробуждением. видно, так его я ждал, что почти услышал его лапки на лестнице: трюк-трюк, прыг-прыг. словно голограмма, мерцающая, он устремился, но не ко мне, а в свой закуток под крышей, где любил поспать после загулов. так явственно во мне успокоительная радость тогда взошла: вот же он, к чему волнения? сейчас отдохнёт, основательно вымоется и уже не пойдёт на новую свиданку, так это всегда и проходило к концу августа...

Вагонные споры (очерк)

они ввалились ночью, в Омске. хотя билет мой был на первую полку, я давно уже спал на второй, так как мне повезло ехать с овчаркой по соседству, и хоть пёс был молод и мил, всё же пах псиной сильно. вот я и влез на пустовавшую чужую полку – впрочем, так было, по идее, удобнее и одному из ввалившихся, он был сильно пьян, и со второй точно упал бы, если б вообще влез. увидев его алкогольно раскалённую, угро-финскую по типуажу личность и помогая втолкнуть его сумку на третью полку, я уверился в правильности моего выбора. внизу произошёл скандал из-за собаки – громче всех права качал рабочий Ринат. это рабочие ввалились, строители, сразу полвагона...

вскоре завоняло острой маринованной закуской: нижняя полка как нельзя лучше подошла для продолжения пьянки. но это я всё обонял и слышал сквозь всевластный сон, а недосып накопился за несколько ночей... ярче всего звучал голос Рината – грозный. его, конечно, осадил. пьяные дурни совали лапы к овчарке, псу это не нравилось, и хозяин его, похожий на Розенбаума, разъяснил новоприбывшим пассажирам, что всё по закону и договору со мной как соседом, и намордник надевать не стал на меньшого брата.

наутро я слез с полки, нижний сосед куда-то надолго исчез, оставив вместо себя сумку – вскоре выяснилось, что продолжал пить в соседнем вагоне. черноглазый же и гибкий рабочий Ринат говорил в соседнем купе о боксе со знанием дела. по урывкам фраз выяснилось, что рабочие едут в Нижний Новгород строить мост, весь коллектив, включая начальство и секретарш, переселился на сутки в вагоны. вертикаль стала горизонталью. вскоре Ринат пересел на боковую нижнюю полку, ставшую столом-беседкой на дневное время. с нашим купе уже произошло примирение, и теперь он хвалил овчарика и хозяина, льстил. и присматривался ко мне. я же углубился в чтение – как-никак хорошо оплаченное время в поезде и можно использовать для чтения, чтобы потом написать рецензию, прочитывается в дороге много, дорогое рабочее время для книгодея...

я не хотел дискуссий, прямо-таки не выпускал язык из-за зубов, хотя с хозяином овчарика Ринат то и дело перебрасывался репликами, сползающими в политику. он стал выкладывать сразу фактуру, как некий упрёк обществу вообще, но без личностей. и тут я понял, что отмолчаться мне за чтением, увы, не удастся. сперва у него выходили абстрактные фразы, но вдруг пробила из-за них правда жизни:

– А те же фермеры? Ведут себя, как баи. Мой брат повешался, поработав у такого бая лето. Брат сказал ему: «У меня день рождение, хочу отметить». А тот бросил ему сто рублей в лицо скомканные – мол, подавись. Но нельзя же так с людьми! Вот брат пошёл и повешался. Нет, он странноватый был, не отличник, чудил иногда, но не пьянствовал, не наркоманил, работал нормально.

я подумал, это разовая неграмотность («повешался»), но, читая и подправляя вчера оригинал очередной заметки политзаключённого правозащитника Курамшина – понял, что это такой вульгар-диалект Сибири, граничащей с Казахстаном. не только говорят, но и пишут это слово. однако сути это не меняет – Ринат, по идее, должен был теперь, как Ленин, преисполниться кровной классовой ненависти к буржуям сельским, а равно и прочим. однако он всё топтался вокруг...

– Друг мой вернулся с армии, проработал три месяца у фермера в Казахстане, а тот ему три тысячи рублей, и то вовремя не заплатил, весь сентябрь тянул. Баи... Работы нет в Омске! Я вот закончил по холодильным установкам техникум – нет работы по специальности! Наркотиков – полно, полиция контролирует всех наркоторговцев, у чужих не купишь. Водки полно. А работы нет.

пока мой умный, усатый и лысый сосед Анатолий кивал и кратко отвечал Ринату, я узнавал его, рабочего, положение: женат, отец, дом имеет частный, потратили на него четыреста тысяч. и тут уже он обратил ко мне свой пылливо-плутоватый взгляд. я вмастил насчёт государственного обмана с «материнским капиталом» и он тотчас согласился:

– Вот мы и не попали в материнский капитал! Говорят – надо было только новую квартиру брать по ипотеке, а мы купили дом уже не новый. Везде обман...

мы перебросились с Анатолием, постоянным слушателем «Эха Москвы», парой реплик насчёт недавнего наглого увольнения Кудрина и бесправия масс, и Ринат ещё больше ощутил себя в своей тарелке, стал интересоваться, как живут в Москве. всё ему надо знать досконально – почём съём квартиры, какая средняя зарплата. в глазах его горел молодой огонёк-костерок гастарбайтера. Москва магнитит. и тут же выдал слегка националистический поворот:

– Но заводы строят, в Тобольске завод полимеров строят! Это когда вообще было, чтоб заводы строили? Но работать возьмут кого дешевле – казахов, таджиков, а русские спиваются, на иглу садятся... Вон, у нас друг Путина, мэр хвастался, как китайцы огурцы выращивают круглый год в оранжереях, а они их пестицидами накачивают. Потом проверили – да там всё зашкаливает! А для своих работы нет. Вот чтоб не бросать в лицо эти пусть пять тысяч хотя бы, но чтоб заработать.

горячий он, Ринат – до всего есть дело. вполне современный рабочий. я хоть и отмалчивался, как настоящий большевик-подпольщик (как автор «Москвы в огне» в своём вагоне), реплики выпуская лишь общегражданского толка, но разок в качестве морали шепнул ему под громкий стук проезжающего слева поезда: «Ка-пи-та-лизм». но он точно и слышать не хотел, продолжая изливать слабо переваренные реалии в пространство нашего отсека-купе. и пояснение Анатолия, что завод полимеров строят иностранцы – пропустил мимо, как бы отвлёкшись, а затем сделав боксёрский хук по воображаемому противнику. мол, я готов к неожиданностям...

жене его, чтоб ребёнка устроить в детсад, пришлось работать детсадовской уборщицей за зарплату, которая меньше прожиточного минимума, целый год. и ничего – работала. я уточнил: уже не пять тысяч по России прожиточный минимум.

– Да по России и по Сибири – не всегда одно и то же. У нас и маленькую зарплату не заплатят – всё держится на словах, на добром слове! Работаю по договору, в лучшем случае, в штат не берут. Меня вместо месяцев испытательного срока год так держали на договоре. Могут уволить, не заплатив – так у нас мусорный бизнес работает. Тоже бай заправляет один, я его знаю. Но наш, русский. Наберёт на вокзале бомжей, они месяц-два за водку работают, он не платит, не кормит, дождётся пока сами сбегут, новых набирает. Так оборот и делает.

нет, Ринат по омским меркам вовсе не гастарбайтер – зарплата на руки 49 тысяч. правда, за два месяца – вахтовик. месяц вкальвывает, месяц дома. так работает уже пол-Сибири – заводов не осталось (увезли в Китай в виде металлолома), работать постоянно негде. сбывается предсказание моего коллеги-новреалиста Романа Сенчина: вся работающая Россия в лице мужиков-кормильцев становится вахтовиками. одни едут бурить скважины, другие следить, чтоб из её величества Трубы не откачивали, третьи вот, благороднее, хоть что-то строят. правда, кто знает – не мостом ли платной дороги станет их детище?

Ринат принялся доедать вчерашнюю благоуханную курицу – это она мне показалась помесью черемши и ким-чи, корейской квашеной «капусты», больше напоминающей аромат маринованного чеснока, а некоторым – помойки. ест впрок, с аппетитом человека, привыкшего к физическим нагрузкам, хлопает чаем, проглатывает хлеб. карие глаза совершенно европеоидного татарина (таких, вроде актёра Шакурова, едва ли не больше, чем сохранивших монголоидные черты) загорелись свежим огоньком. я же скромно попиваю из стакана супчик расстворимый сибирский, ровно двести грамм... Ринат, завершая короткий наш триалог с соседом

на счёт возврата Путина и рабочей бесправности (которую сам и аргументировал примерами), выдаёт внезапно:

– Ну что ж, будем надеяться, что Медведев и Путин улучшат жизнь!

этот ход конём я не отследил и тотчас попросил уточнений.

– Так в Чечне вот Путин наладил же, с кризисом вроде справились.

тут пришлось проводить ликбез, однако впереди оказалось много сюрпризов. как-то от кризиса мы перешли к революции, и Ринат выдал по-расеянски «общее место»:

– Все кризисы и революции приходят из-за границы. Как в семнадцатом и девяносто первом. Народ сам не пойдёт на революцию, его провоцируют. Вот Ленин привёз же немецкие деньги сюда?..

во мне будто катапульта сработала, я скинул ногу с ноги, подался вперёд к нему, и неожиданно для себя быстро продолжил ликбез. Ринат даже стушевался, однако продолжал стоять на своём: рабочие, пускай, хотели революции, но крестьянство – нет. тут уж я не отмалчивался:

– Да кто были эти солдаты, с фронта бежавшие и Питер переполнившие, как не крестьяне-то?

– Эти – может быть, но не, которые с землёй...

– Так им не революция землю-то дала ли, бедным?!

– А потом в колхозы сгоняли, Тухачевский газами травил...

вот на этом этапе я и понял уникальность сознания не только Рината как рабочего наших дней, но и ещё многих таких рабочих. двадцать лет пропаганды либерал- и чекистов-капиталистов впечатали свои скрижали и туда. кстати, тут же, почему-то при упоминании революции, Ленина, Тухачевского, из соседнего купе пересел вдрызг пьяный сотрудник всё того же «Мостовика» и промямлил:

– Вы зумаете, что вы изнаете что-то ипро и-историю? Вот мама у меня канзизат историческихх наук... Ничего вы не знаете, а что читали – это фффукх!

стало ясно, что разговорчивый Ринат – ещё хороший случай. деградирующий рабочий класс, даже имея образованных советской системой родителей, не в состоянии взять ничего впрок, как раз те знания, которые помогли бы укрепиться как классу. тут, сбивая алкогольный градус дискуссии, Анатолий отечески поинтересовался, насколько надёжна работа в «Мостовике» для Рината, спросил – есть ли пенсионные отчисления. Ринат поспешно, как от осы отмахнулся: «Вот не знаю». значит, нет. и тут же снова добавил в оправдание, что это хоть какая-то работа, с очень хорошей зарплатой, позволяющей детей воспитывать, поднимать.

мимо прошёл выпивший начальник Рината, сделал неясный жест рукой и что-то промямлил, Ринат дружелюбно ответил, подыгрывая: «Ага, понял, никого не принимать, вы заняты». какой-то начальник отдела. смешно смешалась их иерархия – пафос вроде неуместен, так у них ролевые игры. и всё это радуется огненноглазого рабочего: он рад услужить, рад быть винтиком вертикали «Мостовика»...

к ночи снова напившиеся трудяги стали вспоминать армию, а заодно всплыло и то, что «Мостовик» имеет два собственных самолёта. вот куда пошли пенсионные денежки таких, как Ринат...

утром мы говорили меньше. Ринат побаивался откровенного разговора и даже попытался уколоть ответно за вчерашний ликбез по поводу НЭПа и индустриализации: мол, мы, журналисты, раззадориваем, не думая о таких, как он, что ему семью надо кормить, что ему не до политики. спите, моё классовое сознание и советская идентичность!

я понял главное: он не глуп, он заставляет себя быть глупым. мифы о ГУЛАГе, немецком шпионе Ленине и газовом Тухачевском (а я подробно рассказал, как неохотно, сперва поугуговывая выйти из леса и сдать, Полномочная комиссия ВЦИК принимала решение не травить, а лишь выманить из леса антоновцев! есть доскональное исследование по этому вопросу, никаких признаков террора и погибших именно от газа там не было, это была вынужденная

мера, манёвр) – успокоительны для бесправного пролетариата. с этими мифами он как бы общается к манящей его Москве. думает, что там-то уже все так думают... от хорошей жизни. ощущаете корреляцию?

комфортно жить, работая на буржуя, отдавая ему прибавочную стоимость – можно только «под газами», не Тухачевского газами, а Ельцина-Путина. козырь Рината насчёт того, что он как рабочий должен в первую очередь думать о семье, я перебил джокером:

– А бастующие рабочие ведь тоже именно поэтому требуют зарплат – домашних нечем кормить.

– Нет, у нас кто решается на забастовку, обязательно делают накопления, миллион отложат.

я посмеялся: откуда у них такие деньги? Ринат понял, что запутался в самообмане. но тут же продолжил:

– Я теперь спокойнее смотрю на всё, а раньше тоже был агитатор, когда бригадиром. Боролся с пьянством, коммунизмом переболел – думал, это правильно, за справедливость. Православие тоже изучал, а теперь у меня своя линия, выверенная годами: домой деньги привезти.

ну да: по схеме «коммунизм у нас уже был». мол, сам бунтовал, но теперь притёрся. это он сказал, уже надев клеёчатую чёрную кепку, вмиг сделавшую его типичным гастарбайтером. они вышли всей гурьбой – всеми эксплуатируемыми и эксплуататорами в полном составе и в полном согласии. никто не пытался мстить начальству в пути, душить его – все мирно пили вместе. классовый компромисс... да, они хоть и свои, российские, но гастарбайтеры – какого чёрта их бы из такой дали выписали нижегородские чинуши? само собой, и они экономят на омской рабочей силе – и так на каждой ступени.

вышли, я не успел сказать Ринату: дорогой, твоё примирение с буржуем объяснимо, но временно! ты умнее тех «седативных» мифов о Советской власти, которые позволяют тебе не надеяться на собственный, на рабочий контроль. да-да: «фабрики – рабочим» был не просто лозунг смутного для тебя 1917-го. вырвав их из рук буржуев и создав своё, рабочее государство, пролетариат уже не на дядю работал, а на себя. это сложно понять бетонщику на вахте – но вот дома будет время, почитай в интернете или библиотеке!

не только на самолёты из вас выкачивают далеко не самые богатые буржуи. каждый бетонщик недополучает не только пенсионных отчислений – добрую половину своего труда отдаёт задаром. за право... успокаивать себя телевизионными сказками о злодеях-большевиках. эти сказки сделали историю СССР настолько нелогичной, что водить этими кривыми переулками теперь могут только самые отъявленные шизофреники по убеждениям – Млечины да этот пьяноглазый бородач на «Культуре», на пирожок купеческий похожий.

в голове твоей, в отличие от боксёрских рук – не сила, а слабость. слабость умышленная, использующая силу твоих мышц и рабочих навыков – не в твоих интересах. ты поддаёшься пропаганде и продаёшься, чтобы кормить семью, так неужели ты думаешь, что государство рабочих, таких как ты, снизу доверху – не даст тебе работу куда с большими гарантиями и адекватной оплатой? именно как было в СССР – и это ты признал: «Вот говорят, что плохо было... но не всё было плохо в СССР».

ты боишься что-либо менять? ждёшь, что это сделаем мы в столице, побыстрее и почище? и сам же боишься перемен, все остатки религиозности вперив в тандем? «Будем надеяться» – как «Отче наш»...

я знал, что когда-то само по себе знание истории и своего места в обществе, честное – станет пугать людей. как в «Матрице»: комфортнее быть батареей. пробуждение классового сознания – пугает. но не знал я, что этими трусами окажутся рабочие, которым кроме цепей терять... но ведь есть что – в том-то и дело. и за эту кишку капитализм крепко взял наследников социализма, не могущих потребовать назад советское наследство у буржуев.

нет, Ринат, ты не прав. коммунизм, о котором ты в техникуме явно не получил никакого представления – не корь, не свинка, им переболеть нельзя. болезнь – капитализм. знание – выздоровление, учи историю Советской Родины заново! ибо капитализм – убивает. кого-то медленно, выжимая пот на стройках, кого-то сразу – фермерским манером. когда ты это поймёшь на своей шкуре и, желательно, не на шее, как брат – вот тогда мы продолжим разговор. кто знает, может и в столице. и я напому тебе те пораженческие слова, сказанные из-под чёрного гастарбайтерского козырька. а будущее-то за рабочими и в руках рабочих – когда даже та информация, которой владеешь ты сам, станет достоянием других рабочих, и они узнают, как работодатель обманывает вашего брата. дальше – профсоюз. школа коммунизма. ты меня младше, дорогой, хоть этого и не заметил. значит, если не мне, то тебе суждено узнать, что такое революция на самом деле.

Тридцать третий (рассказ)

вышел из здания вокзала окрылённый. точнее было бы сказать – околесённый. или, традиционнее, но и парадоксальнее – колесованный. билет в плацкартный вагон куплен, причём, по цене ниже моих ожиданий – четыре триста, в то время, как летом он стоил все шесть. очередь отстоял при этом небольшую, а боялся вообще не успеть – поздновато добрался до вокзала. мы с женой расстались в городе: она поехала домой налегке, я же, взяв шуршащие нагруженные пакеты, отправился за билетом, не питая больших надежд и уже смиряясь с мыслью лететь на самолёте за ещё большие, чем летние купейные, деньги. однако, с карточки, уже безналично, что тоже отчасти приятно (не худеет кошелёк) – отчислены небольшие деньги, гарантирующие мне возвращение в Столицу ко сроку. единственно, чего я не успел – сказать кассирше, чтоб не страховали. страховка – этакий налог по умолчанию, бессмысленный и незаконный даже: в случае катастрофы похороны всегда оплачивает государство, так что дважды этак страховаться даже смешно. вот я и улыбнулся, когда кассирша протянула мне чек Транскредитбанка: эта подпись и эта страховая сумма как бы и были моим автографом благодарности и платой за разрешение всех волнений, за безналичное обилЕчивание, выражаясь старомодно.

и вот, вышел в осень сибирскую, возвышенную закатным небом – с тем ощущением лёгкости, которое даёт билет не только на самолёт с серебристым крылом, но и на поезд с более серебристым, даже блестяще-отполированным колесом. но от меня тут через неделю не останется и тени... странная эта диалектика чувств: и приятно приезжать, но и уезжать приятно. не потому что надоело – нет. а просто так именно, расстоянием в три с половиной тысячи километров, измеряется теперь моё стремление к новым родным. расстояние это помноженное на время – месяц здесь, месяц дома, – даёт формулу моего нынешнего бытия в движении, отчасти тоже пропетого Цоем в песне про странный стук...

стою на невидимой, известной только томичам, остановке тех автобусов, которые доведут до Академгородка – а это отсюда не так далеко, но маршрута, идущего по кратчайшему расстоянию нет в расписании здешних маршруток. кратчайший, как ни странно – это железнодорожный путь от вокзала Томск-1, откуда я отбуду, до Томска-2, если б можно было сойти на полпути. там от моста можно пешком дойти за полчаса. автобусная же логика движения – иная. ПАЗики подкатывают один за другим к остановкам, но ни на одном не красуется имя нашей достопамятной части города.

зная, что быстрее всего ехать тридцать четвёртым, я, всё ещё движимый радостью от покупки билета, избегаю зачем-то в тридцать третий, на котором указан наш Академ финалом маршрута. на всякий случай уточняю (мне и советовали так делать, тут бывает, что едут не туда, а сюда в зависимости от времени суток) у шофёра:

- До Академгородка доедете?
- Доедем...

он молодой, ровесник мой, или даже помладше – худой шофёр в районе тридцати, с бородкой альтернативщика, делающей его, скорее, моложе. зря я не уточнил – когда доедем, но теперь-то поздно выпрыгивать, поехали. я сел сразу к окну, на сидение по ходу езды, прямо от двери которое (если вы представляете себе планировку ПАЗика, в Москве они занимаются исключительно похоронным извозом), переглянулся с пацанёнком, сидящим на сидении прямо у мотора с другого борта автобуса, и подмигнул ему: мол, раз указан Академ, так доедем. мальчик настолько мал, что не говорит – при нём мама студенческих или аспирантских лет, но вида неучёного. а ведь Томск – город студентов... свернули к Южной, там-то мы и закупались...

самое время возвращения с работы, поэтому автобус полон – хорошо, что мне нашлось с моими пакетами место. здесь пакеты называют исключительно майками. когда спрашивают кассирши «Маечку?» – всегда не сразу расшифровываю вопрос, думаю про какие-то фирменные майки магазинов. на Украине же всё тот же пакет носит название «кулёк», и никак иначе – сие узнал я ещё в конце восьмидесятых не от кого-нибудь, а от сына достопочтенного «огонькового» Коротича, так говорила его мама, да и папа оттуда родом... вот и постигай этот говор, этот город!

на Южной, поскольку мы едем на маршрутке (в Сибири, как и всё прочее, масштабы маршруток больше московских газелек) – усталый серокожий дядька с неровной щетиной, начинающейся прямо из-под кепки, звякнув оплатными монетками в руке, попросил шофёра: «У самолёта». там когда-то стоял самолёт, украшение района. мы же после этой незапланированной остановки берём круто вправо по Красноармейской, длиннющей улице, пересекающейся со знакомой мне улицей Фрунзе лишь противоположным краем своим. но мы доходили отсюда с женою туда в морозные дни последней зимы...

ощущение, будто уже это поезд, моё долгое возвращение – приветливо гляжу на вечер рабочего дня, хоть в салоне всё теснее становится. вот уже с Красноармейской берёт через встречную полосу влево молодой шофёр. кинотеатр слегка подновлённый, детский клуб, конечно же нужный томичам – всё тут расположено разумно, но скомпоновано сумбурно, нередко с нахлестом веков друг на друга, минуя двадцатый. однако сейчас как раз плавно текут силикатные пятиэтажки годов шестидесятых, меж которых вдруг подновлённым евро-Оком вылезает некий завод, и при нём комфортабельным щедро освещённым ларьком пивная – понятно, это тот самый «Крюгер». и туда сейчас как раз и втекают после работы мужички. вот куда надо б заглянуть с дегустацией тёмного, светлого, крепкого, редкого. показательная пивная. и вечер наступает – пока только закатными отблесками в окнах, усиливающими осенние ощущения.

здесь осень ярче московской и даже подмосковной во много раз: выезжая уже по улице Кирова к университетским кварталам, вижу такой пожирающий любое внимание листопад, что кажется, все последние листья сейчас и падают, хотя ветер несильный. вот справа аккуратное неоклассическое здание КГБ, которого прежде боялись диссиденты, а теперь – это серенькая ФСБ, и памятник чекисту двадцатых годов стоит сиротливо, преданный, ведь сбоку втемяшились соглядатаи, перестроечные мемориалы, намекающие на ненужность и даже вредность проделанной бородатым большевиком-романтиком работы... слева под опадающими кущами у одного из бесчисленных вузов есть и Колчаку посвящённый мемориал – свежесвыщербленные в камне строки недавно прошедших лет, не вычеркнутые пока новой революционной бурей. подмечаю всё это, пересаживаясь, пока свободно – на сидение, которое позади меня, обзор тут получше и не так жарит тепловой выхлоп из мотора, выведенный для обогрева салона уже по осенне-зимнему (а, скорее всего, и круглогодично).

листопад, как возвращающиеся домой студенты и трудяги, – численно всё усиливается. мы свернули с горки направо к университету, и слегка до этого опустевший салон забивается молодым притоком. как в достопамятной телеигре «Спортлото», люди перекатываются друг о друга этакими шарами с номерками своих возрастов, и, в конце концов, на диванчик, примыкающий спинкой через рекламную перегородку к спинке водительского кресла, падает студентка, блещущая взглядом, раззадоренным этим внезапным спортсостязанием. шатенка с выющимися или подвитыми волосами, красивая.

не могу сказать, что разглядел её сразу. однако, уже проезжая ТГУ, понял, что расположение наше визави как-то и автобусом всем отмечено – сидящая у окна рядом с ней лет сорока пяти женщина, до этого хмурая и понурая, кажется, заулыбалась и деликатно загляделась на учебные кварталы, почувствовав даже раньше меня мост некоего внимания. не то, чтобы взаимного – скорее, переблёскивание взглядов. вот так автобусы венчают!

и не успеешь отвлечься, задуматься – чтобы оправдать частое возвращение зрачков к красивой цели... да, она из перетекающей по автобусу массы неизменно выделяется, даже когда её закрывают животы и спины. её яркость и пропорции лица – порядка Барбары Брыльски, какой её видел и преподносил Рязанов. даже что-то вызывающее в такой красоте есть – а всего-то на всего девушка при макияже, с лекций едет, наверное.

что есть красота – трудно понять в статике. хотя, мы-то относительно друг друга не движемся (только на неё иногда налегают полами одежд передающие таксу шофёру). красота это ритм и сила – нажим, магнит. знакомый уже «левобережный» пейзаж проспекта Ленина не держит, она отвлекает, безмянная. сейчас и автобус заметит, как часто я «рисую» её... странный неуют теперь и непокой ощущаю в местах, где с женою много раз проезжали. и закатный рассвет самого центра, местного Белого дома – не радуется как прежде, а тревожит, томит. такие они – томички...

интересно, где же сей маршрут поворачивает? где-нибудь за ЦУМом? а дальше-то я пока и не бывал... спрашивать неудобно как-то – да и выгляжу ярковато, в рубашке европейского образца тяжелотканной, полосатый, будто шмель. всем кажется, что это цвета Билайна, хотя вместо чёрного тут тёмно-синий. однако готовность категорий говорит всем что чёрный. жёлтый ярк по-летнему, хотя одежда как раз на осень – моя личная униформа из девяностых, подаренная ещё первую любовью. вот спросишь соседа так, а он решит, что я билайновский рекламный агент. и в транспорт пролезли, заворчит... или просто сам спросит.

да и зачем спрашивать? уж доеду молча – как-то глупо выглядеть буду и перед томичкой безмянной. её гордая шея словно призвана быть постаментом красивого и лишь самую чуточку надменного лица – чтобы выделяться на фоне сливающихся с транспортной и законной серостью пассажиров. мечтает о будущем за пределами Сибири? несомненно – студенчество ведь пора и во многом реальное основание именно таких грёз.

уже и ЦУМ миновали, и тут-то автобус наш взял круто вправо как раз на перекрёстке далее которого я не ездил, отчасти оправдывая ожидания – это как раз гипотетически в нашу сторону, так как до сих пор мы лишь удалялись от Академа... всё новые соседи студентки замечают нашу очную ставку. и ставки сделаны – мы как бы не замечаем друг друга, но урываем черты лиц в самый неожиданный момент. уверен, мой бурсацкий профиль и особенно идейно устремлённый нос смотрящего в окно не остался незамеченным...

вечер тут уже очевидный, требует включить сигнальные огни машин, окружающих нас таким нерестом. мы едем с поворотом вправо вверх куда-то – томские резные и тёмно-древние «деревяшки» выглядывают с неожиданных земляных возвышенностей. слышал я, что где-то тут, на горе Каштаке (на шашлыке, на шампуре, на вертеле) находятся то ли бани, то ли автосалоны – автобус увёз-таки меня в совершенно непредсказуемую даль. и игра становится всё интереснее.

её глаза выражают во-первых удовлетворённость тем, что заметили. а то едешь так, едешь, привыкаешь уже... во-вторых, глаза её внимательны и неспящие, что тоже плюс. занятые нехарактерным для пассажиров транспорта делом, мы теряемся в догадках. а за окном на широком, нехарактерном перекрёстке, похожем на ленинградскую рядовую площадь – ещё захвативший часть освещённого пространства, тот самый конструктивистский фрагмент центра Томска, который видел я лишь на открытках или на телеэкране. дом, распахнувший прямоугольные объёты своего желтостенного гостеприимства. вот и дом подпекает словно своими ровно освещёнными широкими и высокими окнами: чем дальше, тем интереснее.

угадываю, что сейчас мы едем почти параллельным проспекту Ленина путём, но обратно и как бы по другому краю Томска – успокаиваю себя. где-то пересечём улицу Красноармейскую, а она точный признак приближения нашей окраины... интересно, куда едет, где сойдёт она – успею ли я рассмотреть и размыслить (размусолить взглядом) её? одета в поблескиваю-

щую отдельными ниточками фиолетовую кофточку, тёмные джинсы, какие-то золотистые бусы поблёскивают, придавая весомости и изысканности её юной лицевой красоте.

что ж, я, наверное, ярчайший (минимум – рубахой) делегат автобуса на переговоры очей с Мисс Тридцать Третий... наш выезд на Красноармейскую произойдёт явно не в то время и не в том месте, как мне казалось – словно эти большие карие глаза девушки напротив отвлекли и сманили куда-то в сторону весь автобус. старательно гляжу, пытаюсь отвлечься, в окно – там уже длинный завод Сибкабель и некая ночная улица с домами-«деревяшками», то ли из сказки, то ли из сна. салон наш короткий пополняется работягами, всё ещё трудящимися на хиреющем и планирующем переезд в Казахстан, где дешевле электричество, заводе... заводчане вносят дух металлический и пивной, мисс автобус этому не рада, однако я замечаю такую самодостаточность в её глазах, тоже, как и я, умилённых старотомскими постройками, что не стоит беспокоиться.

вот же: я беспокоюсь уже! и верно: беспокойство нарастает, как во время сватовства. на коленях у меня невидная девушке сумка-майка, и это успокаивает. впрочем, ей нет дела до моей сумки – осторожность наши глаза по-прежнему соблюдают. Красноармейскую мы как-то дугой, с неожиданным поворотом у овальной клумбы, всё же пересекли, но въехали не в район улицы Сибирской, на что я очень рассчитывал (ведь там проходит родной, на единицу старший брат Тридцать Третьего)... происходящее кажется всё более сном, пока темнеет за окном.

тут-то я и вспоминаю о зеркальности – непременно атрибуте снов. когда ехали в обратном направлении, и именно по той части Томска, куда я не заглядывал – это и было как во сне, где сбываются желания. и девушка – кто знает, не одна ли она из тех, что услужливо вспоминаются или выдумываются в период воздержания, не тобой инициированного? а Тридцать Четвёртый? не он ли тоже завёз меня в здешнее зазеркалье – так и было, когда я отправился на вокзал, за билетом, из Академа. тоже проявил рассеянность, поверил надписи с упоминанием Томска Первого, а в итоге заехал в края, где Томск Второй. зеркала – точно, зеркала! и она, напротив, слегка подзавитая, не меня ли самого отражает в женском обличье?

заехал в такие окраины на том Тридцать Четвёртом, что пришлось у кондукторши длинного автобуса с неизменным логотипом правящей партии чинуш выведывать, как теперь назад-то вернуться. она и подсказала доехать до самых дальних далей, связующихся почти по прямой с Томском Первым, в конце концов. там я пересел на маршрутку и прибыл-таки на вокзал, увидев попутно новые районы, значительно дальше вытянутые, нежели представлял я, оглядывая их с наших околоакадемских высот... было это летом, в жару – и улица, под которой тут обнаружился внезапный для меня подземный переход, вполне могла бы оказаться московской, окраинной, населённой повсеместными тенистыми пятиэтажками. десятки лет живи в Москве – не увидишь, не заедешь... такими они во снах и бывают, районы неведомые, и сюжет-то типичный для сна. не в будущее ли на много лет вперёд мы там заезжаем на голубых автобусах сновидений?

Тридцать Третий малыми улочками пробирается как раз туда, во Второй микрорайон (кто-то спросил, доедет ли), откуда я спешил убежать, завезённый неправильным его, но муниципальным, партийным братцем, пророчащим возрождение транспорта (а когда он умирал-то, муниципальный – то есть общественный?). вот, значит, куда, в какие края и какую ситуацию я купил билет свой железнодорожный, сам того не подозревая. девушка напротив не выходит, она, как и я, серьёзная пассажирка, надолго...

мы заехали снова к избам, к одноэтажным кварталам, и наша очная перестрелка стала бы почти слитной, непрерывной, выстрелы не одиночные, а очереди – но меня спас звонок из дома. ты очень вовремя звонишь, мама, и я отвечаю оживлённо, всё более поселяясь взглядом за заборами и деревянными стенами в подробностях древнего быта. приятно слышать голоса гостей – вы собрались без меня, но я ощущаю семью на расстоянии трёх с половиной тысяч

километров. и я дорог вам как начинающий семьянин – вот с этими сумками и выпукло золотым узеньким кольцом на пальце. это я, засланный сюда вашей радостью...

но я ловлю себя, что даже голосом, ответами оптимистическими я рисуюсь, я работаю на два фронта – неисправимый авантюрист... Впрочем, я всё же вспомнил, что только проездом в этих почти деревенских кварталах, если, конечно, автобус не поменял, как бывает уже только во снах, свой маршрут и не передумал везти меня домой. домой...

она глядит на меня, когда я не гляжу – спокойно, внимательно, дружелюбно, это я вижу боковым зрением, которое у мужчин считается многими опрометчиво слабым. моё – хорошее. контакт этот даже без прямого взгляда теперь не разорвать. дерзость моих первых взглядов была чем-то вроде приглашения на танец – и вот, мы кружимся в неизвестном мне вальсе на поворотах уже откровенно новосельных панельно-бревенчатых кварталов. что-то узнаю из поездки на Тридцать Четвёртом – Впрочем, молодой водитель снова повёл автобус в неведомом мне направлении. и, как во сне, где теряешь речь, не могу я никого спросить. мелькают пивные, их больше и чаще можно тут встретить, чем можно было подумать в центре Томска – что поделаешь, это и есть дома нынешнего быта. и работяги Сибкабеля пойдут сперва в них, дышать испариной хмельной, а потом уже домой, к семьям и телевизорам...

я проникся не симпатией даже, а каким-то подобострастием ко всему населению здешнему, так как вырван из знакомых мест, координат, и единственное, за что я могу ухватиться – это карие глаза, это её стройная осанка и в освобождённом от сидевших передо мной теперь пространстве видное разножье. нет, это не чёрные джинсы, это нечто более обтягивающее и блестящее, близкое к лосинам. более агрессивное, но сейчас благоволящее. наши взгляды заочно схватились друг за друга и будто подгоняют друг друга, и смотрят за окно друг другом. и мне всё приветливее башни новостроек, а молодой бес-шофёр всё безжалостнее закручивает своим рулём мой компас, мою ориентацию, и я отчаиваюсь уже понять, как далеко мы уехали.

а она глядит приветливо – на сорок пять градусов правее меня, в окно, но в моём направлении. наши взгляды, таким образом, образуют угол в девяносто градусов, прямой. иногда в отражении, когда крошечная ночь без освещения несётся за окном, я подсматриваю её эмоции. ей всё интереснее наш путь. хорошо, что я выбрит, но плохо что кольцо – однако правая рука не показывается из-за кулис сидения пока. что нам делать? примут ли нас эти районы, подъезды – наверное, и тут кодовые замки? или сюда они не добрались?..

карие глаза – взаимные магниты. выйти вслед за ней, говорить, глядя на её юные, но почему-то кажущиеся уже опытными губы – целовать их комплиментами, тянуть её в подъезд холодной каменной башни с венцом, напоминающим императорскую корону, стянуть с неё вихрем страсти лосины её, припереть к нагретому дневным солнцем стеклу лестничной клетки, увидеть вместе сотни зажжённых окон, куда разошлись пассажиры маршруток...

что за бред? я семейный человек! в моём пакете – детские каши и фруктово-овощные смеси в баночках, это ценнейший груз. «всю свою жизнь я сумку охранял» – спел Егор Летов, живший недалеко тут, по меркам сибирских расстояний. в моём случае – сумка меня и мою жизнь охраняет. мой якорь! всю свою жизнь я сумкой охранял...

а ведь всего-то надо пересесть ровно на одно сидение вперёд и заговорить с ней прямо – сейчас уже запросто, ведь салон почти опустел. догадываюсь, что мы вползли на те холмы, что казались мне с нашей поворотной возвышенности дороги домой – самыми дальними, туманными далями, уже даже не Томском, за Иркутским трактом где-то... я и не могу никак понять – когда же этот город кончится, ведь все прогнозируемые отрезки времени, за которое его проезжаешь на глаз, истекли. а город и не думает кончаться, а город заманивает меня своей дочерью-красоткой, институткой...

как он подобрал момент, этот коварный город ссыльных! драгоценное прибавление в семье, увы, полностью исключило взрослую негу в нашей постели, уже год, как мы не супруги телесно. тут ничего странного: вся нежность жены адресована не мне, а созданию нашему,

которому она нужнее. я-то уже бывалый тип, могу и повременить ради общей драгоценности. но самому по-прежнему хочется нежить женскую неизведанность... вот такую юную и неприступную, хочется раздеть её в том смысле, что – скинуть не только её нарядность, но и автобус с неё, стены её родного микрорайона. скинуть всё лишнее, грубо и точно, как скульптор, руками чующий в камне очертания тела богини... и верно: этот чёртов бывалый оттого и пялит ненасытные очи, это прошлый я, живший вне регламента, всякий раз вот на такие встречи рассчитывавший и ставивший на случайное рифмованное число, хоть на тридцать три вот, всё своё прошлое, ва-банк...

вобравший ближайшие деревни, чтобы отсюда созывать рабочий класс на смены гудком некогда, Томск вынужден юлить тут деревенскими улочками и вывесками. и я юлю мыслями, жаркие окна новостроек и одинокие окна изб подогревают воображение – неизвестно, как этот пасьянс сложится, если я выскачу за незнакомкой. и главное – где выскочу. знаю, что есть тут откровенно бандитские испокон двадцатого века районы, где могут прирезать незнакомца просто из-за вида его пёстрога. а тут, к тому же, не пустой – сам привёз, чем поживиться. ублюдки-уркаганы-убийцы закусят водку детским питанием с грубым хохотом, чокнутся трофейными баночками, налив ровно по пятьдесят...

игровая двусмысленность может вгонять в ступор нерешительности или же веселить – что-то произойдёт... но тут снова вовремя раздаётся вибрирование в кармане, это звонит жена, словно чувствует моё жжение-напряжение на расстоянии. и двери открылись как раз, остатки салона вываливают, платят кондукторше, ранее мной незамеченной.

– Ты где?

– Да вот еду всё, сел на тридцать третий вместо тридцать четвёртого.

– Ну, это ты долго будешь ехать. А мы ждём папочку на тётчины пироги и даже пиццу!

– Еду-еду... Пока!

– Пока-пока.

входящие спрашивают: «До Авангарда идёте?». это концертный зал, где выступают столичные попсари и рокеры, кажется – и он точно в какой-то запредельной от нас части города. куда же мы всё-таки катим?! что-то мне перестаёт всё это нравиться. но девушка напротив, слышавшая мои короткие реплики, нравится продолжает. она снова будто ничего и не слышала, оглядывает зашедших, даже кому-то пояснила, куда автобус идёт. меня теперь волнует вопрос: она проехала свою остановку или нет? кто из нас держится за другого, а кто нет? я-то до упора еду, а вот она?

вошедшие расположились в задней части салона. теперь спереди – только я, она, да семья водителя – как я раньше не догадался? – жена его молодая это кондуктор, а сынишка их за компанию, оставить не с кем. жена шофёра на меня всё время, принимая червончики и пятаки, глядит весело. она заметила, что я здесь старожил, уже около часа еду, равно как и девушка, и что-то нас держит...

чтобы вести разговор, надо снять кольцо, по возможности незаметно. засовываю правую и весьма неправую сейчас руку в карман, тихо оставляю там кольцо – визуальное предательство совершено, обман начинается... на некоторых остановках стоит столько народу, что ясно: автобусы тут редкость. они лезут из осени, из прохладного уже вечера в наш салон, как в последнюю возможность покинуть хмурые кварталы частного сектора. это вроде Подмосковья, где заборы резко сменяются панельными возвышениями...

наконец, долгожданная зашедшими прежде, какая-то крупная остановка у торгового центра и снова пивных – вымывает из салона всех, если верить ушам, оглядываться-то тоже не полагается. сейчас уже два внимания обращены на меня – жены шофёра и институтки. да, флирт-шоу может начаться в любой момент. и этот полосатый весьма красноречив, если решится.

груди у неё нет практически – настолько юна и не наполнена веществом будней первокурсница. но видно, что непопсОва её красота – лицо сообщает многое. главное – внутри, чёрт меня побери. её спокойный взгляд в окно показывает, что волнение в данный момент – только на моём полюсе. мужчины вообще взволнованный вид – им надо стараться в отношениях с женщинами, всегда, они являются двигателем и питанием... теперь я поигрываю своей неокольцованной кистью – но ей и дела нет до этого. достаёт свой мобильничек с какой-то висячей на нём игрушкой, прошлогодняя школьница... прямой угол наших взглядов сохраняется. она при этом придвинулась к окну, чтобы оказаться напротив меня совершенно. а снизу там, под коленом её в лосине – жарит пахнувший слегка нефтепродуктами выхлоп мотора, я это прекрасно знаю. так устроен автобус – зимой этот подогрев радует продрогшие на тридцатиградусном морозе ноги, но сейчас, в тёплом октябре, да ещё девушку... однако она терпит.

надо спешить, по идее: чем дальше, тем больше вероятность её выхода. а я не успею сказать ни слова. о чём говорить? о, можно пообещать ей студенческие каникулы в Москве – не в первый раз, тут фантазия и импровизация беседы не подведут. краснодарскую девственницу однажды так завлёл. надо только сделать этот шаг на одно место вперёд: оставить сумку на своём и сесть напротив неё.

а новостройки всё кружат голову, а автобус всё извилистее едет вдоль каких-то заводских бетонных оград и кромешной тьмы, прореженной фонарями. и я улучаю момент, чтоб оглянуться, как бы любуясь ночным пейзажем: в салоне позади нас нет ни души. что же это, если не судьба – из всего автобуса оставить лишь двух пассажиров и трясти их на круговых развилках, проверяя прочность сцепки взаимного внимания и чаруя пасьянсами окон?

и вся шофёрская семейка, включая сынка, глядит на нас. меня разбирает нервное веселье. просто не могу уже не улыбаться – я это устраиваю, может, чтоб показать ей, что сдаюсь. но выходит, что колеблюсь. немужское поведение: в таких ситуациях ожидают только решительности и нажима... а я отдаюсь полностью видимому всему за окном – улыбаюсь побеждающим меня пригородам, тем самым местам, где возможен наш совместный выход.

если выйду, то другого автобуса в сторону дома не будет. да и опаздывать далее некуда, и так уже ждут, волнуются – это будет выход из всей сложившейся до сих пор жизни, из своего проекта. выход наугад, так как там – либо страсть и квартира каких-нибудь её друзей, а если уж повезёт, то её пустующая квартира...

честный вход в неизвестность, как из поезда посреди полей случайной бестаможенной республики, выход на бис, на милость города, который может распахнуть недельные хмельные и страстные объятия, повести по квартирам знакомых её, а может и прирезать или избить всё в той же компании... но прошли времена такого наобума – девяностые.

обращаю, наконец, прямой, долгий, откровенный взгляд в её большие карие. однако она, давая себя разглядывать, привычно выпрыгивает вниманием в окно, на этот раз уже без тени улыбки и симпатии на лице. что-то не испуганное даже, а надменное и хмурое мелькнуло в карих и вокруг них. да, я просрочил женское ожидание – а моё веселье-шоу, придурковатое и дурашливое, могло зарекомендовать меня только как сумасшедшего, зависшего в точке принятия решения, внутренне хохочущего над своим хотением её.

в этот момент – настало время её (законного по правилам игры) звонка другу, точнее, он звонит ей. она улыбается как-то лично, видя имя на мобильном, говорит без какого-либо акцента, образованно так говорит – теперь мне, в ответ на речевую грацию реплик москвича, являя свою...

– Нет, вот еду пока...

– У меня всё прекрасно. (на последнем слове глядит иронично на полосы моей рубахи)

– Да, вот прям все пары о тебе только и думала... (всё с той же, но усиленной какой-то обидой, иронией, уже ему адресованной – чувством дразнящей, но верной особы)

– Голодная, приготовь чего-нибудь, уже скоро. Целую.

обыкновенная студентка. наверное, снимает комнату пополам с парнем. их много тут таких, студизусов – скорее всего, не томичка она, обознался. из Новосибирска или Омска, из академической семьи, поэтому такая чистая речь... нормальная первокурсница – кто ж нынче без парней? вот он и ждёт её, какой-нибудь веб-мастер, как и я работающий на дому в виртуальности Сети, а вечером награждаемый реальностью в её лице.

тут она вскакивает, сбрасывает монетки в ладонь кондукторши, властно берётся за поручень, даже не глядя в мою сторону. вид чёрных лосин сзади такой же не вдохновляющий, как вид спереди ниже лица – какая-то неприветливая плоскость при широкой расстановке ног. это всё не моё, и моим быть не желающее. я не ошибся – прыгать сейчас ей во след было бы просто глупо. однако я через сумку-якорь как-то накренился в её сторону, снова ожидая любого сигнала извне... но его не будет, она торопится – голодная юная женщина хуже стихии. если бы я её прижал где-то в подъезде и целовал, она бы дышала изголодавшимся нутром, слишком знакомый мне из моего прошлого (прошлого века, прошлого романа) запах...

на пустынной и ветреной остановке быстро выходит в серую тьму и возвращается как бы, будто автобус проехал лишнее. мы остались теперь вчетвером в автобусе – и тут-то молодой шофёр погасил свет в салоне, для экономии, да разогнался вовсю. я всё так же улыбаюсь – может быть, с облегчением.

вот кто охранял меня надёжнее сумки – ещё не говорящий сынишка молодой семьи. он катит то вперёд, то по кругу свою пластмассовую жёлто-синюю, как моя рубаша, машинку. он ведёт нас в своё будущее, путём семьи. наши с женой шофёра молчаливые улыбки – говорят больше слов. она видела игру страстей на моём лице, видела и весёлую истерику глаз моих, мелькавших вслед за любым оконным светом по оба борта автобуса... и благодарна мне за такое, а не другое решение.

конечно, это бред. меня ждут три женщины, из которых самая маленькая – самая властная. её предать не имеет право не только моя мысль, но и мои пальцы, везущие ей всё, что в сумке... то забираясь на горы, то вырuling на новые круги, где автомобили меняют по-томски свой курс – наш автобус следует неизвестным мне курсом, но домой.

и кажется мне уже, что это не автобус – поскольку высоко он так поднялся над светящимися окнами кварталами, – а самолёт. и он в ночи медленно планирует, снижается в город моей любви, моего и уже не моего, а моей наследницы будущего... на её родину.

я не вышел в микрорайоны приключений, благополучно миновал Второй микрорайон – и приехал в город многодетный, мне доселе невидимый, населённый такими вот семьями, как эта, шофёрская. город, живущий простыми, но очень важными жизненно заботами – живущий своим трудом и своей верностью. опора личная, семейная тут важна, как асфальт под колёсами. сколько он нарулит за месяц, этот мой ровесник-шофёр? тысяч пятнадцать, тут это ещё хорошо. я получаю вдвое больше, но оптимизма моего не заметишь. а он улыбается, летит, снижается и в свою семейную жизнь, в свой домашний вечер – снимет мальчонку с мотора, обнимет жену... видно, что роды не прошли для неё бесследно – она пополнела не только фигурой, но и лицом, поблекла, наверное. сидеть тут кондукторшей без движения – работа не сахар, сахар в термосном чае полнит, но она не теряет весёлого выражения лица, надежды родить братику сестричку. им хорошо вместе, они опора друг другу – каждый, поэтому мальчонка так уверенно давит на колёсики своей машинки. и это радует жену шофёра, не меньше, чем его самого... а моя жена куда красивее – просто красавица стройнейшая рядом с ней. только это не повод для высокомерия, это повод для солидарности. весь рабочий город сегодня – со мной, и держал меня, сжимая заботливыми стенами ПАЗика, как натруженными, пропахшими машинным маслом ладонями.

молчаливый мальчик давит на колёса своей машинки, ощущая ладонью жар мотора под кожухом – рабочий день отца позади. жена его спрашивает:

– В город поедем?

- А кто-то ещё едет, спроси?
- Молодой человек, вы ведь до академа?
- Да, как и договаривались, но спасибо за экскурсию.
- Не за что... Вам где остановиться?
- Да на остановке первой же, дом пять где.
- Можем прямо к подъезду.
- Второй этаж.
- Лестницу выдвинем...

весёлая жена – уже хорошо. наконец, как-то косо, тем самым Иркутским трактом, автобус приземляется в знакомый мне лесной пейзаж у скрещения мостов, и теперь путь до остановки кажется короче и проще. прилипшие к ладони пятаки и рублики, эту более, чем заслуженную плату за проезд, сыпая торжественно жене, мальчик смотрит улыбаясь – он уже ощущает возвращение домой. автобус семейного подряда становится только семейным...

как же близко, но и далеко расположен нужный мне подъезд! близко от остановки и далеко от момента смешливого риска среди светящихся вокруг автобуса окон. вот и типовой домофон, железная дверь, покрытая досками, как во многих домах районов, где проезжали... всё ещё присутствует рядом неким эхом вероятность безумного вбегания в город и чужой подъезд наобум с незнакомкой. но нет: я уже другой, я уже не тот... короткое взбегание по лестнице, и я дома. и запах отработавшей свою смену духовки приветствует, сдобный, слоёный, с отдалённой примесью пороха – плита новая, не прожаренная ещё. и быт потребует новых покупок, приятный, верный быт...

у светящегося как те, что наблюдал в пути, окна, забравшись в родной интернет, всё ещё ощущаю круговое смещение пространства – эхо автобусных извилин, движение во мне продолжается. и как я счастлив, что мой прицел не сбился, и я оказался из тысяч – именно в этой комнате! а за стеной крепко спит и доверчиво сопит малютка, так похожая на моего дядю – и только я это знаю, и только на краткие месяцы это сходство будет видно, подчёркивая преимущество всего родного в моей жизни, которую я не променял на другую и которая могла бы оборваться сегодня же. и в этих лентах новостей, что я пробегаю в поиске самого худшего – было бы известие о странной гибели нарядного поэта в трущобах...

зовут есть пиццу.

Трамплин (рассказ)

Месторасположение его словно предсказано Ленинскими Горами, всей природно-урбанистической композицией. Двухъярусным московским мостом-связкой лиственных гор и каменных Лужников, амфитеатра и сцены (города). Справа, если приехать из центра на станцию «Воробьёвы Горы» или идти от Лужников пешком по мосту – видна вершина трамплина. Его придумал там установить мой дед, ещё когда был довоенным директором Треугольника ЦПКиО, простиравшегося в первой половине двадцатого века вплоть до смотровой площадки. Деда я не видел – меж его болезнью, преждевременной смертью и моим рождением простёрлись двадцать лет. А вот трамплин помню с детства – мама возила меня в сиреновом комбинезончике с олимпийским мишкой-нашивкой осенью гулять на Ленинские Горы... Надёжный дед придумал физкульт-привет мне – до сих пор «надпись» видна, торчит из лиственной палитры.

Томск и Москва, казалось бы, ничего общего не имеют структурно – но если ухватиться за трамплин взглядом, то явится аналогия с Ленинскими Горами и «Москвой-рекой», протекающей тут похожей дугой, но в виде железной дороги-одноколейки от вокзала до вокзала, Томска Первого и Томска Второго. И тоже под мостом журчат поезда. На месте же московского Университета, если чуть сократить столичные масштабы, оказывается Академгородок – даже тут совпадение. Правда, нет шпиля со звездой, но есть выглядывающие из лесу башни жилых домов. Они сквозь мороз зовут электрическим светлым уютом...

Сюда меня забросила судьба-женитьба. Поначалу – наверное, как и во время казавшихся в детстве лесными прогулок на Ленгорах, – всё представилось окраиной, чащей, лишь слегка цивилизованной группой домов. Но потом границы расширились, мои приезды календарно участились. И уже не в зимней тьме или же дневном морозном мареве, скрывающем горизонты, а летом, среди листвы, я привык видеть трамплин – одичалый скелет мастодонта, выглядывающий из леса, как из зоологического музея... Этакое злое знамение среди радостно зеленеющих склонов.

С большого расстояния видно, что металлический трамплин вымер, с него снято покрытие, он зябко просвечивает. Тем не менее, его неприступность стихиям сохранилась. Его аэродинамический вызов – высится. Он изящнее московского, действующего, старшего трамплина: тот словно ссутулился, а затем показал длинный язык. Этот – более прямоуголен, и сутулости в нём нет, скорее – высоколобый.

Академгородок, как следует из названия – город учёных. Устроен он просто: справа от короткого Академического проспекта, по которому прибывают сюда жители и гости, жилой массив, слева – институты, школа и один детсад. Справа же, тоже за детсадами, за жилыми домами и спортивной базой со стадионом – лыжный спуск, а за ним и трамплин. Зимой сюда ездит весь город молодой – кататься на сноубордах и лыжах, которые можно взять напрокат.

Есть и как бы поперечный проспект в жилой части городка: улица Тридцатилетия Победы. Сколько же лет тебе, городок? Да вот, получается, мой ровесник. И строившие его архитекторы, скульпторы, дизайнеры ныне здравствуют, только вне своего детища. Время недалеко увело общество от замыслов проектировщиков и Академгородка и всего Советского Союза – ну, что такое тридцать или же семьдесят пресловутых лет социализма по сравнению с тысячелетними эрами, нашими, ненашими и теми, когда среди других лесов высились шеи живых трамплинов – динозавров?..

Так что вовсе не сложна задача постижения замысла конструкторов будущего, которое хронологически-то стало нашим настоящим, но оказалось вовсе не соответствующим проекту...

запах дерьма сильнее обычного стоял на этаже уже пару-тройку дней. за долгие годы соседства жильцы привыкли к этой слабости женоподобного алкаша. это даже не назовёшь женоподобием – он из человека превратился в некое существо без пола и без присущих полу занятий и признаков. он, а точнее (со временем) оно было не из учёных, хотя при капитализме, в девяностых и нулевых спивались и они. целый клуб создали, собираясь всегда на одной лавочке, приманивая бездомных, находящихся тут корм псов...

человек без имени, только с запахом. однокомнатная квартира его, которую он получил всё же где-то когда-то работая, стала вроде вокзального сортира для окружающих жильцов: ощущение близкой канализации не пропадало ни зимой, ни летом, и не из-за одной лишь близости туалета к входной двери. не только без имени, но и без возраста человек – на вид ему не дали бы и пятидесяти. иногда из-за серой металлической, самой дешёвой двери из тех, что ставили в девяностых – несло куревом, и это казалось жильцам отдохновением. клуб алкоголиков на лавке с отломанными ими подлокотниками не иссякал, откуда-то приходили всё новые кадры, дымили дешёвым табаком овальных сигарет, но безымянный сосед не появлялся в клубе, он стал алкашом-одиночкой давно. я видел его лишь однажды, за пару дней до смерти...

нас было трое – конструкторов городка. Костин, Семёнов и я... семидесятые! среди леса и болота с тучами гнуса мы решили воплотить светоносный рисунок Корбузье, воздвигнуть перспективу сросшихся переходами и, в процессе взросления населения, перестраивающихся внутри домов, создать город-детсад. Валя Костин целый деревянный, бревенчатый детский городок спроектировал, и следил, как воплощается проект на передовой акадЕма, на границе с лесом – целая поляна радости. городок в городке.

дома возводили комсомольские стройотряды молодых учёных, имея много энтузиазма и при этом не имея никакого опыта... стены и потолки выходили кривые внутри, зато ровные снаружи. краснокирпичные «кокошники», рамки окон на силикатно-сером фоне характерной для Томска кладки – две высоких линии, одна короткая – напоминали нам добротню накрашенные глаза любимых женщин. семидесятые, одинаковая косметика – каких уступок женщинам не сделаешь! женщинам и детям, которые уж точно должны были увидеть коммунистический венец наших усилий...

между домами мы сразу запланировали парки – благо, в деревьях недостатка не было, не пришлось вырубать, хотя к ёлкам прибавили берёзы кое-где. а параллельно Академическому проспекту, отделяя его от дома пять с Домом Учёных, посадили целую кедровую аллею, вдобавок с ёлками и берёзами-пограничницами у самых окон – аллею Славы, в честь наших отцов и сорокалетия их Победы. деревья росли вместе с нашими детьми, которые играли уже в детском городке Костина, учились в школе с бронзовой табличкой при входе слева, за которой мы заложили капсулу для открывателей тайника 2017-го года, с ком-пожеланиями...

...обычно бомжами зовут бездомных, спивающихся, голодающих. но этот бомж имел квартиру. он выбирался из неё чаще без свидетелей и так же возвращался – скорее всего, ночью или под утро. о том, что он дома, соседи узнавали по дерьмовым следам возле его двери. цвет варьировался от кирпичного до болотного – регулярным питием одеколона он испортил себе желудок и кишечник. хотя, начинал пить, как все: вино, водку...

одеколон начали пить при Горбачёве и его сухом законе, это казалось забавным, новым. даже в московской девяносто первой школе близ Арбата этим на самой верхней, к метро «Арбатской» ближней причердачной площадке лестницы потешились старшеклассники во главе с высоким тощим веснушчатым Славкой Шмельёвым, имевшим что-то сибирское в скулах и глазах, как будто на мороз слегка сощуренных – его седой бородатый отец был ранен на фронте, доживал свой укороченный войной век в первом кооперативном московском доме-

коммуне меж Садового Кольца, улицы Фадеева и Каляевской, который проектировал конструктивист Илья Голосов...

пить одеколон в двухтысячных – даже для бомжа что-то странное. хотя, перестройка это позор, который всегда с тобой, и если деградируешь, то проходишь весь «филогенез» в своём «онтогенезе», и от палёной водки скатишься к тройному одеколону. нищета... существо из третьей квартиры давно нигде не работало: не позволяла устроиться низкая квалификация и непредсказуемая дефекация. одеколон глушил слегка фекальные его флюиды, но сочетание получалось суровое, как жизнь при капитализме. и хоть ничего, кроме отвращения, безымянное существо не вызывало, соседи ощущали в этой вони какую-то общую правду-приговор – своеобразный сигнал о том, что их дом и страна заплыли не туда...

...над нашей почтой-телеграфом-телефоном выросли букетом высокие антенны-тюльпаны, связуя городок с миром. футуристический вид этой, центральной, части акадЕма, казалось, воплотил эскизы гостиницы «Москва», какой её видели братья Веснины – тоже центральной для пролетарской столицы. только не для трансляции глобальных съездов и не для мега-концертов работали антенны акдЕма, а для личного, для нашего... аллея Славы поднималась выше и выше вместе с ростом детей, кедры стали обрастать полноценными шишками, через Академическое шоссе за ними от институтов повадились белки. учёные, имевшие «жигули» и «волги», деликатно тормозили, пропуская братьев меньших на аллею своей людской славы. однако самим людям не пришлось воспользоваться плодами строившегося ими общества. дрожь девяностых рассыпала плоды: не считая себя уже властью, советский народ распался на национальные, семейные и бизнес-анклавы, с островов одичало взирая, как тонет бывшая родная Атлантида, как стягивает красный стяг со шпилья над зелёным кремлёвским куполом какой-то резвый депутатшишка...

первое предательство, но ещё не осквернение аллеи совершили мы сами, когда не пришли на субботник в девяносто первом её убирать – обёртки сникерсов и пластиковые «кегли» из-под фант и пепси-кол катались на ветру перемен враждебных, иллюстрируя нашу растерянность. ведь никто, кроме нас и раньше не убирался здесь с началом учебного года – дружно, весело, празднично. самодезорганизация: мы перестали быть властью даже в своём городке – мы затаились. даже походки поменялись: втянули шеи в плечи, стали устанавливать стальные двери на последние гроши. каждый начал выживать по-своему. институты, напротив аллеи через проспект, львиную долю сотрудников уволили: свои учёные степени позабыв, исследователи нефти и атмосферы рванули в качестве челноков в Китай и познали рыночную экономику не понаслышке. как зачехлённые зенитки застыли исследовательские аппараты на крыше Института оптики атмосферы: казавшийся атомным и ужасным, враг-капитализм не прилетел воздухом, он пророс из нас самих и нас перестроил. в зданиях институтов на первых этажах открылась куча магазинов: субаренда, её величество предприимчивость. а неприимчивые начали спиваться. фундаментальная наука нерентабельна...

гибель общества не случается мгновенно, не взрывоподобна – она растягивается иногда на десятилетия и сродни борьбе антибиотика с болезнетворными бактериями. судя по вони из третьей квартиры – победили они, бактерии. всё, что в нас оставалось, поддерживающее здоровый ум – направилось на продление рода, но это произошло позднее. с общего, коллективного ума, прежде способного возводить такие городки – сошли все, даже мы, отцы города. образованные родным советским обществом для создания новых городов на Земле, а, может, даже и на других планетах – мы рухнули с высот своих и общих проектов. словно с нашего трамплина, но не вперёд, а вниз. один из нашей триады увлёкся уринологией, второй – берестяными картинками. бежали куда поближе – в примитивное искусство, в позапрошлый, дореволюционный патриотизм, к берёзкам, что не отстояли Аллею Славы от вихря девяностых...

дом пять, центральный и самый разветвлённый, со «стартовым» (и столовым) Домом учёных и спортзалом между двух жилых корпусов – мы задумывали как трансформер. по гале-

реям второго этажа, не выходя из дома в суровые сибирские зимы, можно было пройти в спортзал и слиться, согреться с коллективом с битве за мяч. это позже появился кубик Рубика, но он лишь иллюстрировал запоздало наш замысел совмещения квадратур: модули каждой площадки должны укрупняться, объединяться – вместе с семьями, обществом. стены, как и условности должны упраздняться по приближении к коммуне, которую, как вы помните, мы планировали увидеть в 2017-м. внешние, экономические условия должны были стать двигателем – мы лишь готовили пространство, рисовали внешние кубические контуры коммунизма, подставляли лопасти стен под ветер перемен. однако подул он в обратную сторону.

не пошла масть – «кубик» заклинило, и лишь общий тёплый серый линолеум свидетельствует об изначальном единстве платформы этажей, так сказать. составив на нашем «рубике» лишь полоски да уголки, этажи так и застыли в угловатом распорядке индивидуальных бытов двух- и однокомнатных модулей. однокомнатные модули общежития не влились в семейную часть пятого дома. загогульность коридоров, ведущих к квартирам – тому свидетельством. непостоянные кухни, запланированные тоже для «путешествий» в ходе перестройки, стали центром новой старой жизни – неколлективной. дом заостенел, потеряв динамичность – в рукавоподобных коридорах, втягивавших жильцов в спортивный «пресс» массива, поселилась торговля. пространство обязано само за себя платить – придумали, как подниматься в галереи с улицы, а стёкла их облепили рекламы, живущие в коробках сникерсов и марсов как бы бесплатным приложением-продолжением потребления. благодарное «кормильцу» население не пыталось прочищать эти артерии – ведь и спортзал стал коммерческим, там поселились качки...

словосочетание «машина для жилья» стало чем-то вроде страшилки с недавних пор – машина как нечто чуждое живому, лязгающее и пахнущее бензином, неудобное. «мой дом – моя крепость» звучит ближе к сердцу переживших приватизацию сознания. однако живут они за стальными дверьми и пластиковыми окнами всё в тех же домах и квартирах – в машинах, в машинах... просто тромбы-двери лично-бытовых границ распухли. невероятными из-за этих сейфовых дверей кажутся всего-то двадцать лет назад стоявшие десятками в первом подъезде пятого дома, сразу за входной дверью, детские коляски – никто не опасался ни плевка, ни окурка... да и двери нашей машины для жилья были без замков в то счастливо-опрометчивое время.

мы создавали наши жилые машины, вдохновляясь свердловским городком чекиста и московскими домами-коммунами тридцатых годов двадцатого... они все, первые в стране, были похожи на корабли – дом Наркомфина, общежитие МИСиС. однако стихия, по которой им предстояло плыть – время. и оно стало сперва, ещё в СССР вязким, как грязь или сель, а потом, с девяностых, и вовсе затвердело, как лёд. дома-корабли, машинные отделения для жилья – сели на мели. их угловатые «носы» не смогли проломить соткавшийся впереди регресс – лёд остановившейся истории. коммуны не проектировали ледоколами. общежитие МИСиС на улице Орджоникидзе напротив опустевшего завода и дом Наркомфина близ первой высотки на площади Восстания и площади контрреволюции у «Белого дома» – опустели, обезлюдели. но с нашими и прочими домами этого не произошло – их постигло другое.

любые метафоры ущербны: сложно сказать, время ли остановилось вокруг палуб наших домов-кораблей или они сами встали на якорь... но жизнь в них не остановилась – наоборот, продолжилась, в отличие от обезлюдевших поначалу в начале девяностых домов, например, города шахтёров Хальмер-Ю в воркутинской области или Кызыла, откуда русские бежали в сельскую местность за границы Тувы, как и из сталинских домов Грозного ранее... нет, у нас было всё не так плохо – однако учителям и кандидатам наук пришлось поработать уборщиками, чтобы устоять на палубе своего дома пять в период шторма приватизации и почти голода. Институт химии нефти стал экстренно производить в своих экспериментальных лабораториях

всевозможную тару, Институт оптики атмосферы оставался более востребован, но тоже не сразу, многие бежали из него безработными...

но наши гордые, широкоплечие девятиэтажные дома, наши дети! строя дом, всегда желал ему лучшего: вот и неумелые, но весёлые и трудолюбивые студотряды оглядывали сырые ещё стены комнат, прощая себе кривизну, но думая о вселяющемся сюда уже счастье – семейном, общенародном. город учёных, где говорят все, как москвичи и ленинградцы, где сибирский диалект ощутим разве что на уровне отдельных сленговых слов...

по архитектуре можно не только познавать прошлое, но и предсказывать будущее – то, что грядут годы отчуждения, начало ощущаться, когда вопреки нашему проекту в городок встроили дома, как бы берущие его в скобки. или же собой являющие стену крепости, ограничивающие. мой акадЕм – моя крепость? желание замкнуться выразилось в этих невысоких, низколобых зданиях. вот, верно, когда зашевелилась наша капсула комсомольцев-строителей в школьном здании, адресованная в октябрь 2017-го – задрожала, будто на полке поезда... открытый город стали закрывать выпученным вонне длинным домом на окаймляющей улице Вавилова, которая и ведёт к трамплину, если не сворачивать. а поворот этот охраняет наш с ребятами дом, проектный. у нас тоже был задуман дом-пограничник – но не в форме скобы, а угловой. в нём на верхнем этаже, в помещении с оптимистически глядящими на лес круглыми конструктивистскими окнами, жила изостудия, собиравшая детей из всех домов... сейчас-то помещение её поделили приватизаторы жилья. большого общего не осталось, всё распалось на частности.

крепостной дом выстроили на месте детского городка Костина – снос добрых деревянных зверей и детских избушек не мог видеть ни один из нашей тройки архитекторов. шокированный вырубкой его деревянного зодчества Костин тотчас уехал в Москву со второй женой, а я решил подождать, пожить ещё в своём детище, последить за своим народом: что будет он делать дальше. ведь мы так сильно и, главное, деятельно желали ему добра. но он по-своему стал копить добро...

Мы высадились сюда с женой в самый морозище конца декабря – поскользили по улице Тридцатилетия Победы к супермаркету «Абрикос», и я сразу поймал себя на ощущении вполне московского комфорта: всё рядом, всё есть, разумный современный град. Вот только от сибирского мороза треснули подошвы у обоих валенок, которые стали модны той зимой – Угги называются, ударение на первую гласную, из трёх кусков скроен каждый гламурный валенок. И мех искусственный, и резина подошвы слабая – пижонская обувь, к тому же, китайского производства, как всё новомодное, но дешёвое... Но с собою были ещё и унты – вот они не подвели.

Машина для жилья наша заработала – то на музыке московской фанк-группы, что помогала мне обустроить дом косметически, то с оборотами турбины стиральной машины. Да: это и есть машинное отделение, сердце каждой квартиры. Обороты стиральных машин вместе с часами отсчитывают семейное время вперёд, отматывают километры одежд и надежд... Не скрою, сравнивая законный мороз и внутриквартирный комфорт двухкомнатки, я не раз почти молился и на стиральный двигатель наш, и на новые окна белые, сохраняющие тепло. Воистину: никто лучше самих жильцов не знает, что теплее, что надёжнее...

Пикируя из городка назад в город на автобусе и возвращаясь, не раз я замечал приветливо глядящие с лесистого холма из зимнего вечногo вечера окна акадЕма-девятиэтажных домов-башен. В одной из них, на которой и висит табличка с объяснением имени улицы 30-летия Победы не какого-нибудь, а советского народа – жил, говорят, бизнесмен, из-за долгов застрелившийся. Бизнесмен и советский народ – нереальное, несовременное созвучие (в пространстве их отделили, самоубийцу и табличку, – лишь несколько метров), но где встречаются времена, встречаются и люди...

...впрочем, плох тот город, что остаётся закрытым, не развивается, не пристраивается новым жильём. озлобленный на дома-скобки (один из них, в котором аптека, как мы

и предсказывали – просадил до опасного пролома в асфальте почву болотистую, где ничего кроме лёгкого детского городка и не могло устоять), я должен признать, что это хоть какое-то, но прибавление. кодовое словосочетание всей Постэпохи – «хоть какое-то». мы не выполнили плана-максимума, то ли надорвались, то ли разуверились, перехватив прежде пьянящих надежд... легко преобразованные под коммерческие нужды столовские помещения Дома Учёных впустили Газпромбанк и всякое прочее, но зато по-прежнему уютно пахнет хлебопекарня за башиной-общезитием. это тоже часть нашего проекта: город, сам себя обеспечивающий хлебом, имеющий поликлинику, почту, рои для прогулок и даже прудик в одной из них... вот только общезитие стало самым тревожным и неблагоприятным, как теперь говорят, местом. под ним частенько как бы на завалинке сидит мужик с двумя ёмкостями – бутылкой самой дешёвой водки и какой-нибудь газировкой. в глазах его нет смущения (ему, как и мне, нечего терять в родном городке: дети выросли и разлетелись кто куда, жена ушла), он созерцатель прибывающих автобусов, прохожих, их удавшихся жизней – изнутри своей расплывчато-алкогольной жизни неудачника, и он не одинок...

Последний раз жильца третьей квартиры видели в погожий день жаркого бабьего лета на аллее. Ощетиненный и серый, он выполз из подъезда, пробрался мимо магазина под окнами собственной квартиры, шатаясь – на октябрьское солнце последних щедрот. Враждебно, потугосторонне озирал мам с колясками, как предметы, упрямо движущиеся, кружащие и озадачивающие пьяное восприятие. Пьющим с остальными алкашами его давно не видели, он был на последней стадии – пьющих в одиночку что ни попадя (на местном диалекте – «чо попало»), а дома оставался лишь одеколон... Вероятно, отсчёт времени суток сбился в сумрачном зрении, в однокомнатном пространстве, поэтому он оказался неожиданно для себя освещённым солнцем.

Шатаясь, в чёрно-бело-красном спортивном костюме, он добрёл до кедра, чтобы ухватиться хоть за что-то – а аллея продолжала жить своей жизнью, двигаться пешим и колясочным порядком вдоль Академического проспекта, словно не видя его, не желая того, чтоб он ступил на асфальт, как бы оттесняя невидением его на землю, под хвою, с глаз долой... Алкаш внезапно стал от кедра крениться задницей к земле и спешно начал стягивать чёрные штаны обеими руками – решил, что очередной приступ слабости пропитОго живота. Но сделать аллею Славы аллеей Позора ему не удалось – характерных следов задница, которой он просто сел на усыпанную хвоей землю, не оставила. Хотел из проспиртованного нутра высказать всё, что думает об этой жизни, выживающей его изнутри – но даже этого не смог.

Каждый делает посильный вклад в окружающий его мир – мамы бережно везут в колясках продолжения своих фамилий, папы иногда, делая то же самое, курят, но на дымящих и пьющих на лавке алкашей смотрят без солидарности. Спившиеся научные сотрудники и прочие пьющие жильцы акадЕма – в середине аллеи, около высоких электронных часов, напоминающих, что Томску четыреста лет, упорно пытаются её опозорить. Не из злобы или протеста, просто реализуя тот импульс, что стал их жизненной доминантой... Демократия тут точно восторжествовала: одни прогулкой продлевают, продолжают жизнь, другие свою укорачивают, всё рядом, и всё знакомые уже люди. Никто никому не мешает...

...машина наша для жилья – хорошая машина. я успокаивал себя тем, что пусть с разнорамными рамами теперь, без былого единства внешнего вида, но наше детище работает, вырашивает новые поколения. да, поколение наших ровесников и детей отчаялось своими руками изменить свою страну в том направлении, к которому её вели целый век почти – но они сделали устав выдох надежды, нарожали детей, обретя минимальные для этого заработные средства и относительную стабильность. и изнутри большой машины выкатываются машинки поменьше, словно дети машинного отделения – коляски. в них едут под кедровые хвои, на воздух дети людские – ведь дом не машина жилья, а машина ДЛЯ жилья, что пугающиеся такого определения не замечают и не подчёркивают. хорошая машина – служит долго, может больше века прослужить.

машине, полной людей, требуется горючее – деньги, выжимка из людей, экстракт их труда, сухой остаток. люди проживают на жилплощади только проживая свои зарплаты. лишь тогда вращается стиральный двигатель, сердце быта, а квартира наполняется ароматной влагой поработавшего на славу стирального порошка. так отмываются деньги, неизвестно как добытые, влитые в жизнь, в новые жизни... лестничные клетки всегда чем-нибудь пахнут, в зависимости от того, хорошо или плохо жильцам: обедами или фекалиями. места для курения настолько пропитываются в общежитиях дымом, что и перекрашивание стен не помогает... но без денежного горючего отсек машины для жилья заполняется небытием постепенно, бывают и специфические признаки этого, бывает, и квартиры продают – ведь наш механизм, задуманный только как отправное размещение семей, так и застыл на старте. утолщая комфорт – удорожали жилплощадь. приставив, как мерку-линейку, к нашей машине не цель её постройки, а средства – рубли – населяющие её стали переосмысливать. так, и время стало по-разному продвигаться через стены квартир, одни изменяя быстрее, другие медленнее.

квартира номер три, в которой я бывал случайно, выпивал (меня ведь не только собутыльники, но и приличные семьи здесь до последних пор чувствовали как отца-основателя города) и в нулевых хранила в себе воздух и стиль восьмидесятых. гремучие ниспадающие бусы-бахрома на входе в кухню – наследие хиппи, как-то пролезшее в наш быт, с цыганским или азиатским акцентом... пьяный хозяин из экономии времени прямо из окна слезал на козырёк магазина, чтобы быстрее завладеть бутылкой портвейна и припасть к ней... забыл его имя, мы уходя оставили его пьяным вдрызг, просто захлопнули дверь.

да, двери! они стали теперь тяжкие, сейфовые – я не раз похвалил наши стройотряды за то, что делали всё из кирпича, не взяв сюда из конструктивизма лёгкие камышовые стены, ведь такой допнагрузки другие стены, несиликатные и не выдержали бы. а изначальные синие двери квартир были легки, фанера снаружи да доски каркасом внутри, – с одного удара топора прорубишь. только это не нужно было никому в те годы социализма, который собирался перерасти в коммунизм, где и условные двери не понадобятся... как же, в итоге, в пространственной аналогии, мы оказались далеки от цели, которая намечена в капсуле школьной?

отчаяние, глубочайшее отчаяние, которое может испытать лишь проектировщик несбывшегося – вот что постепенно наполняло меня все годы пресловутой стабилизации. но даже из личного архитекторского отчаяния я видел позитивные общественные ростки и благословлял мысленно небольшой, но вероятностью увидеть коммунизм, проплывающих мимо меня на лодчонках колясок детей и уже внуков знакомого мне населения акадЕма. и аллея Славы становилась аллеей Детства снова, уже во втором поколении – катя свои лёгкие коляски, люди катили вагонетки, нагруженные неведомым им будущим дальнейших поколений. а, может, это маленькие двигатели, колёса колясок, тянут человечество вперёд – дети тянут родителей, и так до самого начала рода человеческого?

так слава или позор настали в нулевых? ни то, ни другое – лишь медленное пришествие в себя и продление рода в старосемейных рамках. но дом наш центральный, дом-трансформер хранит так и не реализованный жест, *движение механизма, мгновенно делающего коммунной прежние микробыты...*

Спасибо тебе, спасибо, мудрый строитель! – думал я в дни, когда мороз поднимался за тридцать и предбанник у домофона наш пятый дом согревал типичной для восьмидесятых батареей с мелкой, как в автомобильном радиаторе, гармошкой пластин на двух греющих трубах. Спасибо и что скат для коляски в наличии – хотя его-то сделали уже совсем недавно. Так тоже метят время домочадцы: в родном московском доме на Каретном для коляски горку на ступени сбоку наложили цементом именно по случаю моего рождения, по настоянию магаданского отца (хотя родом он с Украины, близ Запорожья рождён).

Подъезд, конечно, пропитан и бытом алкоголиков, составляющих немалую фракцию дома-механизма, но дым их сигарет мороз быстро сжигает, проникая сквозняком... и нет-нет

да и шлейф чых-то духов зависнет в коридоре рядом с опустошёнными за ночь бутылками пива, пребывающими неизменно... Дом-движение, он спроектирован для ходьбы свастическими коридорами, лестницами, а не статичности – так я подумал сразу. Но однажды движение рядом с нашей двухкомнаткой остановилось.

Красноносый исхудалый алкаш, задницу которого я краем глаза зацепил позавчера на аллее, сутки пребывал в дерьме – судя по веяниям из третьей квартиры. Находясь напротив коридора, она сквозняком как бы присутствовала и за пределами серой железной двери. Казалось, скоро начнёт вытекать даже сквозь железный заслон. Однако изменений застоявшийся его дух не претерпевал. Отправляясь следующим утром на прогулку с коляской, мы увидели прислонённый к стене квартиры (её метраж чётко очерчивающей зауглением к общему балкончику) спортивный велосипед. Пухлый велосипедист спросил жену, давно ли не видели мы соседа, его дядю, закончив кокетливо, почти горделиво: «Вас запах не беспокоит?» Вместо объяснений, что беспокоит, мы поспешили миновать пахнущую зону.

С улицы, уже возвращаясь, увидели, что форточки квартиры открыты, чего не было никогда до сего дня, а у подъезда стоит скорая и милицейская машины. Все двери подъезда открыли настежь – для выноса... В этот момент всеми осознавалась поломка механизма в одном из модулей, остановка, микроинсульт, ощутимый всем организмом, хоть и разделённым дверьми. Вот они и распахнулись... Из общей этой поломки, нам навстречу, минуя выгибом талии коляску пронеслась средних лет мама, неся десятилетнюю дочку на руках – она сломала ногу на лестнице. Сбой механизма отразился не на одном жильце третьей квартиры. Не удалось распахнуть лишь серые двери «из вестерна» – техническая новинка восьмидесятых (*хотя, они были уже и в тридцатых в конструктивистской гостинице «Москва» и в «Известиях», например, но лишь для международного и государственного, так сказать, уровня*), открывающиеся в обе стороны. Перед квартирой, у стены, порядком поодаль от закрытой, но уже проваренной автогеном двери, сидит на табурете едва на нём помещающийся усталый полицейский. Отяжелевший от наложенных на него обязанностей, он записывает показания велоплемянника. Темп их общения замедленный, траурный, почтительный к невидимому мертвецу.

– Это не убийство, он сам упал, ударился об угол... Вот и соседи могут подтвердить – несколько дней не выходил.

Полицейский глянул на нас с печалью только что выпившего поминальную стопку. Соседи ничего подтверждать не стали, а от знакомой вони поспешили укрыться за толстой металлической дверью. Вот когда она точно пригодилась, не пропускающая чуждых флюидов. Полицейский минут через десять постучал (и звонка у нас нет для тишины и спокойствия), но открывать не стали. Подальше от завершённой жизни, мы устремились в направлении новой. Взволнованной жене я сказал, успокаивая:

– Он давно опустил, просто сейчас опустится ниже уровня земли.

– Земля это хорошо, – подтвердила жена философски...

Его шатания прикончили – на улице, близ мягкой земли они были безопасны, а в механизме для жилья с острыми углами, довершили попытки забыться алкогольно. Никогда не догадаешься, что сам покупаешь смерть, втаскиваешь в свою квартиру «гильотину» – но однажды именно она, родная мебель, к которой пригляделся и не видишь в ней потенциальной опасности, рубанёт тебя. Так покажется пьяному, когда спирт внутри штормит, и всё кидается на тебя с ускорением... Что это было – угол подзеркальника, вешалка, табуретка? Что угодно, но явно – прямо, прямоугольно в прихожей. Машина для трезвого, бодрого жилья убила его, лишнего в ней – точно, механически, закономерно. Устранила опасность возгорания, возможный очаг, опасность для всего коллектива жильцов из-за деградации одного. Удивительнее всего то, что человек-дерьмо не источал запаха разложения. Сероводородное, канализационное, только оно и продолжало сквозить из-под серой двери в течение двух суток. Дефекация продолжалась посмертно.

На следующий день предприимчивый велосипедист вывозил на продажу мебель дяди, так как права на квартиру из-за традиционной волокиты инстанций к нему перейдут нескоро, а ключ уже есть... Странно, что он ещё так вовремя спохватился, прикатил вчера. Удивлённым взглядам проходящих жильцов предстала довольно аккуратная для жилища многолетнего алкаша квартира, вполне современный столик для телевизора, прочая приличная мебель. Оставалось неясным, где же умещалось столько дерьма, которое отравляло жизнь снаружи... Можно сказать, что алкаш жил интеллигентно: на подоконнике стояла даже некая икебана. На кухне висела картина берестяная, признаков того запустения, в которое привёл своё тело и мозг человек без имени, его модуль не сохранил, словно жил здесь другой человек, которым и был он когда-то... Но забывался в парах алкоголя и, наконец, забыл себя окончательно, безвозвратно – как не попавшее на крючок (или как раз глазом-то и угодившее) пальто: рухнув и не очнувшись. Сочась лишь дерьмом вовне. Это беда одиноко живущих, больных иными болезнями – вот лишнее доказательство неправильной точки, на которой машина для жилья остановилась, стала сочтаться ржавчиной. Не способная объединить людей, она по отдельности убивает их, на помощь некому прийти.

моё горячее кончилось – деньги... а тут ещё вытащили этого, не помню имени – для меня как знак, словно похороны всего дома. осквернил прекрасный механизм своей вонючей смертью (впрочем, наш акадЕм осквернили раньше ещё – беглый зэк зарубил приютившего его на ночь сторожа восемьдесят первого детсадика СО РАН, а в роще с прудом было изнасилование). во что он превратился, во что превратились люди! он ведь, помню, всё пытался пристроиться в былые годы к женщинам одиноким, разводящим, но когда был отвергнут всеми, тогда и счёл себя годным лишь для алкогольного растворения внутренностей и мозга. возможно, исподволь тот же мотив заставлял спиваться моего одноразового собутыльника – безденежье... архитектор ныне не нужнее краснодеревщика. строить новорусским вопреки коттеджи после того, как строил города? обустраивать быт воров после неудачного обустройства быта коммуны? нет, увольте – я прожил вместе со своим детищем достаточно, но пережить его не собираюсь. впрочем, это и невозможно – разве что взрыв в Северске на атомной станции, наполняющей и акадЕм энергией? нет, просто нужно вовремя уходить из созданных тобой стен, самому, как капитану с корабля, заплывшего не туда...

незадолго до того, как вынесли жильца третьей квартиры, День акадЕма отмечался солнечно – возможно, он, как и я, слышал из своих окон демонстрацию, громогласное приветствие колоннам с трибуны, напоминавшей опрокинутый шкаф. всё так бодро, будто социализм никуда не уходил из наших мест и страны... хорошо поставленный баритон научного сотрудника объявил, в частности:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.